
III
марсель
Швоб



Salamandra P.V.V.

**МАРСЕЛЬ
ШВОБ**

ВООБРАЖАЕМЫЕ ЖИЗНИ

Собрание сочинений

Том III

Salamandra P.V.V.

Швоб М.

Воображаемые жизни. Пер. с фр. Л. Рындиной под ред. С. Кречетова. Предисл. Х. Л. Борхеса. Илл. Ж. Барбье. – (Собрание сочинений. Том III). – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 138 с., илл.

В третий том собрания сочинений видного французского писателя-символиста Марселя Швоба (1867-1905) вошла книга «Воображаемые жизни» – одно из наиболее совершенных творений писателя. Книгу сопровождают иллюстрации Ж. Барбье из издания 1929 г., считающегося шедевром книжной графики. Произведения Швоба, мастера призрачных видений и эрудированного гротеска, предшественника сюрреалистов и Х. Л. Борхеса, долгие годы практически не издавались на русском языке, и настоящее собрание является первым значимым изданием с дореволюционных времен.



ВООБРАЖАЕМЫЕ ЖИЗНИ

Хорхе Луис Борхес

МАРСЕЛЬ ШВОБ «ВООБРАЖАЕМЫЕ ЖИЗНИ»

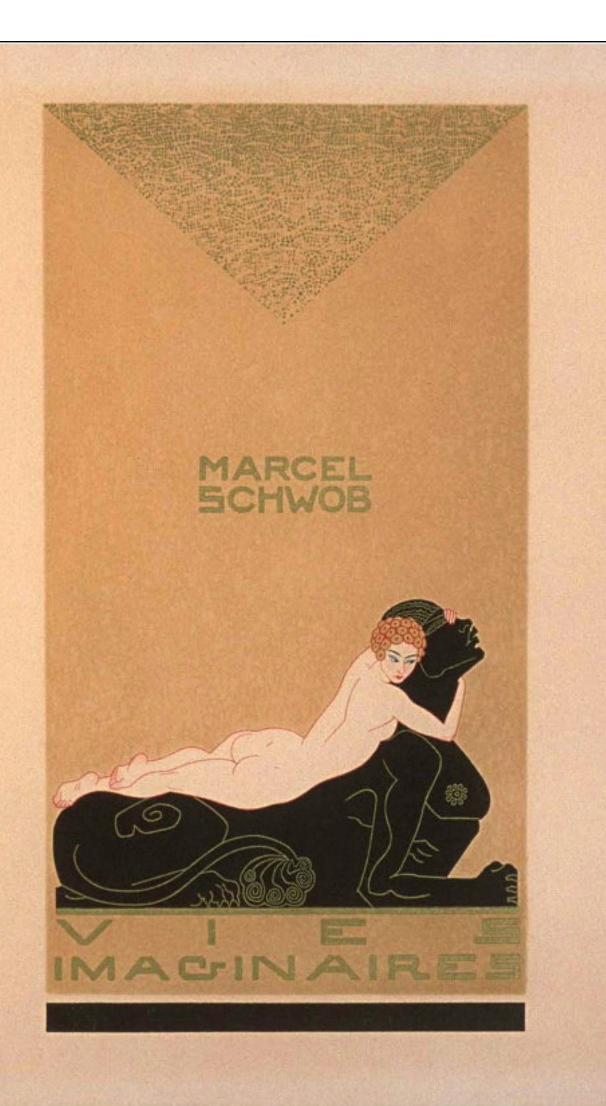
Подобно тому испанцу, который под воздействием книг превратился в «Дон Кихота», Марсель Швоб, прежде чем сделать своей судьбой и обогатить своими произведениями литературу, был замечательным читателем. На долю ему выпала Франция, самая литературная из стран мира. На долю ему выпал девятнадцатый век, не желавший ни в чем уступать предшествовавшему. От предков-раввинов Швоб унаследовал одну из традиций Востока, соединив ее с многочисленными традициями Запада. Пространства бездонных библиотек всегда были для него своими. Он изучил греческий и перевел Лукиана Самосатского. Как многие французы, был влюблен в англоязычную словесность. Безраздельно обожал Уитмена и По. Увлекся средневековым арго, которым орудовал Франсуа Вийон. Открыл и перевел роман «Молль Флендерс», который наверняка немалому научил его в редком искусстве изобретать.

Его «Воображаемые жизни» написаны в 1896 году. Он придумал для них занятный метод. Главные герои реальны, тогда как обстоятельства действия выдуманы, а порою и просто фантастичны. Эта двойственность и придает книге неповторимый вкус.

Почитатели Марселя Швоба существуют во всем мире, составляя небольшие тайные общества. Он не искал славы и вполне сознательно писал для избранных, для happy few. Посещал кружки символистов, дружил с Реми де Гурмоном и Полем Клоделем.

В 1935 году я написал немудреную книгу под названием «Всемирная история бесславья». Одним из многочисленных и до сих пор не замеченных критикой источников для нее послужили «Воображаемые жизни» Марселя Швоба.

Его жизнь уместилась между годами 1867-м и 1905-м.

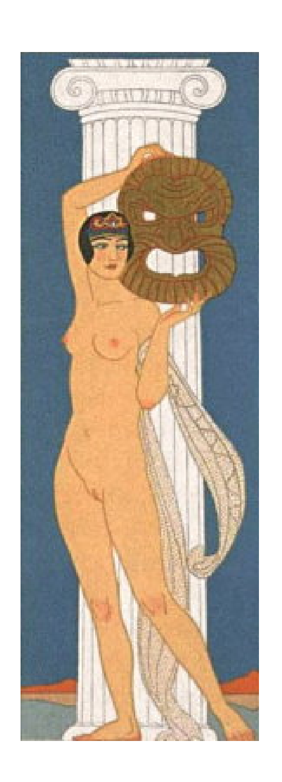

MARCEL
SCHWOB
VIES
IMAGINAIRES





VIES IMAGINAIRES

LE LIVRE
CONTEMPORAIN
1929



ПРЕДИСЛОВИЕ

Историческая наука оставляет нас в сомнении относительно личностей. Она отрывает нам только те точки, где они были связаны с явлениями общими. Она говорит, что Наполеону нездоровилось в день Ватерлоо, что следует приписать исключительную умственную деятельность Ньютона безусловной сдержанности его темперамента, что Александр был пьян, когда убил Клита, и свищ Людовика XIV мог быть причиною некоторых из его решений. Паскаль задается мыслью о носе Клеопатры — что сталось бы, будь он короче — или о песке в мочевом пузыре Кромвелля.

Все эти личные черты имеют значение лишь потому, что они меняют события или могут вывести их из обшей

цепи. Эти причины, действительные или возможные, надо оставить ученым.

Искусство враждебно общим идеям. Оно описывает только личность и ищет только единства. Оно не классифицирует: оно разлагает. Конечно, наши общие идеи могут походить на те, что существуют на Марсе, и три линии, пересекаясь, составят треугольник в любой точке вселенной. Но посмотрите на древесный лист с его капризными жилками, с его оттенками, меняемыми тенью и солнцем, посмотрите на нем припухлость от упавшей капли дождя, укол, оставленный насекомым, серебристый след маленькой улитки, первую смертную позолоту, что налагает осень; найдите такой же другой во всех дубравах земного шара: бьюсь об заклад, — не найдете.

Нет науки о покровах одного листочка, о волокнах одной клетки, о сгибах одной вены, о законах одной привычки, об изломах одного характера.

Если у данного человека нос крючком, один глаз выше другого, сустав руки узловатый; если у него привычка в такой-то час есть белое мясо курицы; если «Мальвуази» он предпочитает «Шато-Марго», — этому нет параллели на свете. Сократу или Фалесу легко было говорить: γνῶθι σεαυτόν*, но и Сократ не сумел бы дважды почесать себе ногу в тюрьме одинаковым образом перед тем, как выпить цикуту.

Мысли великих людей — общее достояние человечества: в действительности каждый из них владел только своими странностями. Книга, описавшая человека во всех его уклонах, была бы созданием искусства, как японский эстамп, где закреплено навек изображение маленькой гусеницы, увиденной один раз и в определенный час дня.

О всем этом история молчит. В сухом собрании материалов, почерпнутых из разных источников, мало черт единстаенных и неповторяемых. Особенно здесь скупы старинные биографы. Ценя только общественную жизнь или литературу, они передали нам о великих людях лишь речи и

---

* «Познай себя» (*гр.*).

заглавия их книг. Если бы не сам Аристофан, мы бы так и не имели удовольствия знать, что он был лыс, и если бы вздернутый нос Сократа не послужил для литературных сравнений, а его привычка ходить босиком не входила в его философское учение о презрении к плоти, не сохранилось бы от него ничего, кроме вопросов морали. Сплетни Светония — только злобная полемика. Добрый гений Плутарха иногда делал из него художника, но он не понимал сущности своего искусства, иначе не изобрел бы метода параллелей, как будто два человека, точно описанные во всех деталях, могут походить друг на друга. Приходится сверяться с Афинеем, с Авлом Геллием, со схолиастами и с Диогеном Лаэрцием, думавшим, что он сочинил нечто вроде «Истории философии».

В большей мере чувство личности развилось в современности. Труд Босвелля был бы совершенным, если бы он не счел нужным приводить переписку Джонсона и рассуждения по поводу его книг. Более удачно «Жизнеописание знаменитых людей» Обрэя. У него, без сомнения, было чутье биографа. Досадно, что стиль этого замечательного знатока древности не стоит на высоте его общего замысла! Тогда его книга была бы вечным отдыхом для пытливых умов. Обрэй никогда не чувствовал потребности установить связь между личными особенностями и общими идеями. Для прославления людей, которые его интересовали, он довольствовался тем, что уже раньше отметили другие. Почти все время не знаешь, о ком идет речь, — математик ли это, государственный человек, поэт или часовщик. Но у каждого из них есть своя единая черта, что отличает его от других навсегда.

Художник Хокусаи к стодесятилетнему возрасту надеялся дойти до идеала своего искусства. «Тогда, — говорил он, — каждая точка, каждая линия, проведенная кистью, будут живыми». Под живыми надо разуметь индивидуальные. Нет ничего более сходного, чем точки и линии: геометрия основана на этом положении. Совершенное искусство Хокусаи требовало, чтоб не было ничего более различного.

Итак, идеалом биографа должно бы быть тончайшее разграничение обликов двух философов, создавших почти одинаковые теории. Обрэй, хотя к каждому человеку он подходит по-особому, не достиг совершенства; он не сумел осуществить чудодейственного превращения, на которое надеялся Хокусаи, то есть сходства в различии. Но Обрэй не дожил до ста десяти дет. При всем том он очень почтенен и прекрасно понимал значение своей книги. «Я помню, — говорит он в предисловии к "Antony Wood", — слова генерала Ламбера: That the best of men are but men at the best*, и тому вы найдете различные подтверждения в этой беспощадной и слишком ранней коллекции. Но все эти алхимические зелья не следовало бы выносить на свет раньше, как лет через тридцать. Следует, по правде, чтобы и автор, и действующие лица до тех пор сгнили».

Можно найти у предшественников Обрэя некоторые зачатки его искусства. Так, Диоген Лаэрций сообщает, что Аристотель носил на животе кожаный мех с горячим маслом и по смерти у него в доме нашли множество глиняных сосудов. Мы никогда не узнаем, что делал Аристотель со всем этим горшечным хламом, и эта тайна нам так же приятна, как догадки, что оставляет Босвелль по поводу употребления Джонсоном сухих апельсинных корок, которые он имел привычку хранить к карманах. Здесь Диоген Лаэрций почти достигает уровня неподражаемого Босвелля. Но все это редкие удовольствия. Между тем, Обрэй доставляет их нам на каждом шагу. «Мильтон, — говорит он, — произносил букву "р" очень твердо. Спенсер был мал ростом, носил короткие волосы, маленькую манишку и маленькие манжеты. Барклай жил одно время в Англии при короле Иакове. Он был тогда человек старый, с седой бородой и носил шляпу с пером, что скандализировало некоторых строгих лиц. Эразм не выносил рыбы, хотя и родился в рыбачьем городе. Что до Бэкона, то ни один из его служителей не смел являться к нему иначе, как в сапогах из ис-

* «Лучшие из людей – в лучшем случае люди» (*англ.*).

панской кожи: запах телячьей, который был ему неприятен, он чувствовал сразу. Доктор Фуллер так сильно отдавался умственному труду, что во время предобеденной прогулки, среди размышлений, съедал, сам того не замечая, хлеб в два су». О сэре Вильяме Давенане он замечает: «Я был на его похоронах; у него был гроб из орехового дерева; сэр Джон Денгам уверял, что это самый красивый гроб, какой он когда-либо видел». Он пишет по поводу Бена Джонсона: «Я слышал, как актеру Ласи рассказывали, что у него была привычка носить пальто вроде кучерского, с разрезами под мышкой". Вот что поражает Обрэя у Вильяма Прина: «Его манера работать была такова: он надевал на голову длинный пикейный колпак, спадавший на глаза по крайности пальца на два-три и служивший абажуром для защиты глаз от света, и примерно каждые три часа слуга должен был приносить ему хлеб и кружку эля для подкрепления мыслей; он работал, пил, жевал свой хлеб и таким образом протягивал до ночи, когда основательно ужинал. Гоббс к старости совсем облысел, но все-таки дома у него была привычка работать с открытой головой; он говорил, что никогда не простужается, но ему очень надоедает мешать мухам садиться на его лысину». Обрэй ничего не говорит нам об «Oceana» Джона Гаррингтона, но рассказывает, что автор «Anno Domini 1660» был сослан в качестве узника сперва в Тур, где его держали несколько времени, а потом в Portsey Castle. Его пребывание в этих тюрьмах послужило впоследствии почвой для бреда или помешательства, впрочем, не буйного, так как говорил он достаточно разумно и был очень приятен в обществе. У него была фантазия, что его пот превращается в мух, а иногда в пчел ad cetera sobrius. Чтоб проследить это, он выстроил в саду некоего Гарта (против Сент-Джемсского парка) передвижной досчатый домик. Он поворачивал его к солнцу и садился напротив. Затем по его приказанию приносили лисьих хвостов и ими выгоняли и били всех мух и пчел, которые там окажутся; потом он закрывал ставни. Но так как опыт этот он делал только в жаркое время года, само собой, несколько мух забивались в щели и в складки драпировок.

Через каких-нибудь четверть часа жара заставляла одну, другую, третью муху вылезать из их дырок, и тогда он восклицал: «Разве вы не видите ясно, что они выходят из меня?»

Вот все, что Обрэй говорит о Маритоне: «Настоящее его имя было Head. Бовэй знал его хорошо. Родился там-то... был одно время книгопродавцем в Малом Бритэне. Живал среди цыган. С виду был бездельник с наглыми глазами, умел принимать какой угодно вид. Два или три раза разорялся. Под конец стал опять книгопродавцем. Незадолго до смерти ему приходилось много строчить, чтобы просуществовать. Ему платили по 20 шиллингов за лист. Написал несколько книг, “The English Rogue”, “The Art of Wheadling” и другие. Утонул в открытом море, во время переезда в Плимут, около 1676 года, в возрасте около 59-ти лет».

Наконец, надо привести его биографию Декарта:

M-eur Renatus Des Cartes

«“Nobilis Gallus, Perroni Dominus, summus Mathematicus et Philosophus, natus Turonum, pridie Calendas Apriles 1596. Denatus Holmiae, Calendis Februarii, 1650”*. (Я нахожу эту надпись под его портретом кисти C. V. Dalen).

Как проводил он время в молодости и каким образом сделался таким ученым, он рассказывает в своем трактате, озаглавленном “О методе”'. Коллегия Иисуса гордится тем, что Ордену выпала честь его воспитания.

Несколько лет он жил в Эгмонте (близ Гааги), которым помечены его некоторые книги. Это был человек слишком мудрый, чтоб обременять себя женой, но, как мужчина, имел желания и похоть мужчины; поэтому он содержал красивую женщину хорошего поведения, любил ее и от нее имел нескольких детей (кажется, двух или трех). Было бы очень удивительно, если бы, происходя от такого отца, они

* «Благородный француз, сеньор дю Перрон, превосходный математик и философ, родился в Турене в канун первого апреля 1596. Умер в Стокгольме в феврале 1650» (*лат.*).

не получили хорошего образования. Он был таким выдающимся ученым, что все другие ученые посещали его, и многие из них просили его показать им свои… приборы. (В то время математическая наука была тесно связана с употреблением приборов и, по выражению Sr. H. S., с применением шарлатанских приемов). Тогда он выдвигал из-под стола маленький ящик и показывал им циркуль, у которого была сломана одна ножка; вместо линейки он пользовался сложенным вдвое листом бумаги».

Ясно, что Обрэй давал себе полный отчет в своей работе. Не думайте, что он не знал цены философским идеям Декарта или Гоббса, но не это его интересовало. Он очень хорошо говорит, что Декарт сам изложил свое учение человечеству. Он хорошо знает, что Гарвей открыл кровообращение, но предпочитает отметить, что этот великий человек во время бессонницы разгуливал в рубашке, что у него был скверный почерк, и известнейшие доктора Лондона не дали бы шести су ни за один его рецепт. Обрэй уверен, что осветил нам Франциска Бэкона, сообщив, что у него был глаз острый и нежный, цвета ореха, подобный глазу змеи. Но Обрэй не такой великий художник, как Гольбейн. Он не умеет запечатлеть для вечности личность в ей одной присущих чертах на фоне ее сходства с идеалом. Он дает жизнь глазу, носу, ноге, гримасе своей модели, но не умеет оживить всей фигуры. Старый Хокусаи хорошо видел, что придется превратить в индивидуальное то, что является наиболее общим. У Обрэя не было такого проникновения.

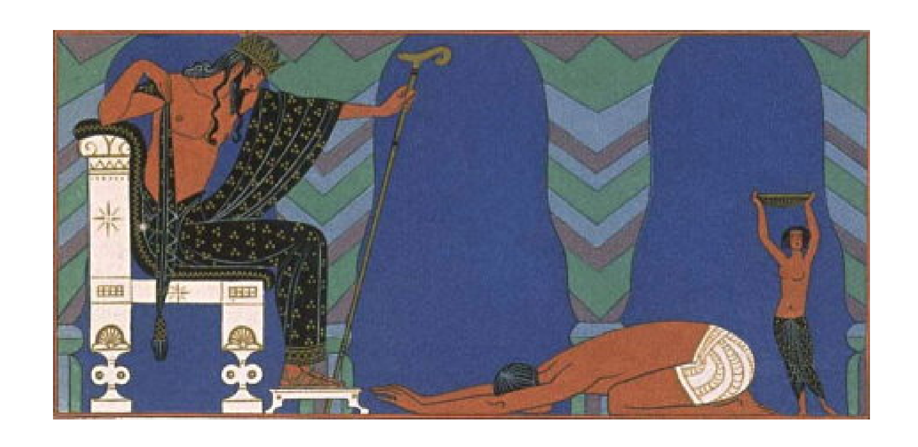
Если бы книга Босвелля заключалась в десяти страницах, она была бы давно ожидаемым произведением искусства. Здравый смысл доктора Джонсона состоит из общих мест и притом самых вульгарных; выраженный с своеобразной грубостью, которую Босвелль сумел очертить, он обладает качеством, в своем роде единственным. Эта грузная пропись сродни лексиконам того же автора, и из всего этого можно бы извлечь одну “Scientia Johnsoniana” с соответственным указателем. Босвелль не имел эстетической решимости сделать выборку.

Искусство биографа состоит именно в выборе. Ему нечего заботиться о правде; он должен творить из хаоса человеческих черт. Лейбниц говорит, что, создавая мир, Бог выбрал лучшую из возможностей. Биограф, как низшее божество, умеет выбирать из человеческих возможностей ту, которая единственна. Он не должен ошибаться в искусстве, как Бог не ошибается в милосердии. Необходимо, чтобы прозрения обоих были непогрешимы. Терпеливые Демиурги собрали для биографа мысли, игру лица, события. Их работа содержится в хрониках, мемуарах, письмах, заметках. Из этого грубого материала биограф выбирает то, из чего может создать образ, не похожий ни на один другой. Нет нужды, чтобы он был одинаков с тем, который в свое время был создан Всевышним, только бы он был единственным, как любое из творений.

К несчастью, биографы обычно думали, что они — историка. Этим они лишили нас восхитительных портретов. Они полагали, что нас может интересовать только жизнь великих.

Искусство чуждо этих соображений. В глазах художника портрет неизвестного, писанный Кранахом, имеет такое же значение, как и портрет Эразма. Ведь не из-за имени Эразма эта картина неподражаема. Искусство биографа — дать жизни бедного актера такую же ценность, как жизни Шекспира. Лишь низкий инстинкт заставляет нас с удовольствием отмечать узость грудной клетки в бюсте Александра или прядь на лбу Наполеона... Улыбка Монны Лизы, о которой мы ничего не знаем (быть может, это даже лицо мужчины), оттого еще более таинственна. Гримаса, нарисованная Хокусаи, наводит на глубочайшие размышления.

Если браться за искусство, над которым работали Босвелль и Обрэй, без сомнения следует не кропотливо изображать величайшего человека своего времени или писать характеристики самых знаменитых людей прошлого, а рассказывать с таким же тщанием единичные жизни людей, каковы бы они ни были: божественны, срединны или преступны.



ЭМПЕДОКЛ

Мнимый бог

Никто не знает о его рождении, ни о том, как пришел он в мир. Он появился у золотистых берегов реки Акрагаса, в прекрасном городе Агригенте, немного времени после того, как Ксеркс приказал бить море цепями. Предание говорит, что одного из предков его звали тоже Эмпедоклом: но никто не знал его. Под этим, без сомнения, нужно понимать, что он был сыном самого себя, как подобает богу. Ученики его уверяют, что прежде чем пройти в славе своей по полям Сицилии, он уже прожил из свете четыре существования и был растением, рыбой, птицей и девушкой. На нем был пурпуровый плащ, на который спадали его длинные волосы, вкруг головы золотая повязка, на ногах медные сандалии, в руках гирлянды, сплетенные из лавров и рунной волны.

Возложением рук он исцелял больных и пел стихи гомеровским распевом, с торжественными ударениями, стоя на колеснице, с головой, поднятой к небу. Толпа народа шла за ним и падала ниц, слушая его поэмы. Под чистым небом, освещающим нивы, люди отовсюду приходили к Эм-

педоклу с руками, полными приношений. Он приводил их в экстаз, воспевая божественный свод из кристалла, громаду огня, что мы называем солнцем, и любовь, которая объемлет все, подобная огромной- сфере.

Все существа, — говорил он, — суть только разрозненные части этой сферы любви, в которую проникла ненависть. И то, что мы называем любовью, есть стремление соединиться, поглотиться и раствориться, как мы были когда-то, в лоне шарообразного божества, расторгнутого враждою. Он возвещал, что будет некогда день, когда божественная сфера восполнится вновь после всех преобразований душ. Ибо Мир, что мы знаем, есть дело ненависти, и его распадение будет делом любви.

Так пел он по городам и полям, и медные лаконийские сандалии звенели на его ногах и перед ним звучали кимвалы. А между тем, из пасти Этны подымался столб чернаго дыма, бросавший тень на всю Сицилию.

Подобный властителю небес, Эмпедокл был одет в пурпур и опоясан золотом, тогда как пифагорейцы ходили в простых льняных туниках и в обуви из папируса.

Говорили, он умел сводить глазной гной, разгонять опухоли и вытягивать боль из членов; его умоляли прекратить дожди и грозы; он заклял бури на окружности холмов в Селинунте; он изгнал лихорадку, перелив две реки в русло третьей, и жители Селинунта поклонились ему и воздвигли ему храм, и выбили медаль, где изображение его было рядом с изображением Аполлона. Иные уверяли, что он был предсказателем и учеником персидских магов, что он владел искусством некромантии и знанием трав, наводящих безумие. Однажды, когда он обедал у Анхита, какой-то разъяренный человек ворвался в залу с поднятым мечом. Эмпедокл встал, протянул руку и запел стих Гомера о непентесе, цвете лилии, дающем забвенье. И тотчас сила непентеса охватила того, и он остался недвижен с взнесенным мечом, забыв все, как будто выпил он сладкого яда вместе с пенистым вином кратера.

Больные приходили к Эмпедоклу издалека, и он был окружен толпой несчастных. Вместе с другими шли за ним

женщины, целуя края его драгоценного плаща. Одна из них, по имени Пантея, была дочь знатного человека из Агригента. Ее должны были посвятить Артемиде, но она убежала от холодной статуи богини и обрекла свою девственность Эмпедоклу. Никто не видел меж ними знаков любви, ибо Эмпедокл хранил божественное бесстрастие. Он говорил только эпическим размером и на ионийском наречии, хотя народ и его последователи употребляли дорийское. Все движения его были священны. Он приближался к людям только исцелять или благословлять, большую же часть времени проводил в молчании. И никто никогда из шедших за ним не видал его спящим. Его видели неизменно величественным...

Пантея была одета в золото и тонкую шерсть. Волосы ее были убраны по роскошной моде изнеженного Агригата. Ее груди поддерживал красный пояс, и подошвы сандалий ее были напитаны благовониями. К тому же была она прекрасна, было стройное у нее тело, и цвет его возбуждал желания. Нельзя было утверждать, что Эмпедокл любил ее, но он ее жалел. Случилось, что дыхание азийского ветра принесло чуму на поля сицилийские. Многих коснулась черными пальцами беда. Даже животные устилали своими трупами луга, и всюду виднелись мертвые с облезшей шерстью овцы, с разинутыми глотками, обращенными к небу, и с разбухшими боками. Этой болезнью занемогла и Пантея; она упала к ногам Эмпедокла и более не дышала. Те, что были кругом, подняли окоченевшее тело и омыли его ароматами и вином. Они развязали красный пояс, сжимавший молодые груди, и обвили ее пеленами. Полуоткрытый рот был стянут повязкой, и впалые глаза не отражали света,

Эмпедокл взглянул на нее, снял золотой обруч, окружавший ему голову, и возложил на нее. Он положил на ее груди гирлянду пророческих лавров, пропел никому не ведомые стихи о переселении душ и трижды приказал ей — встать и ходить. Толпа была объята ужасом. По третьему зову Пантея вышла из царства теней, и тело ее ожило и встало на ноги, все окутанное в погребальные покровы. И


GB

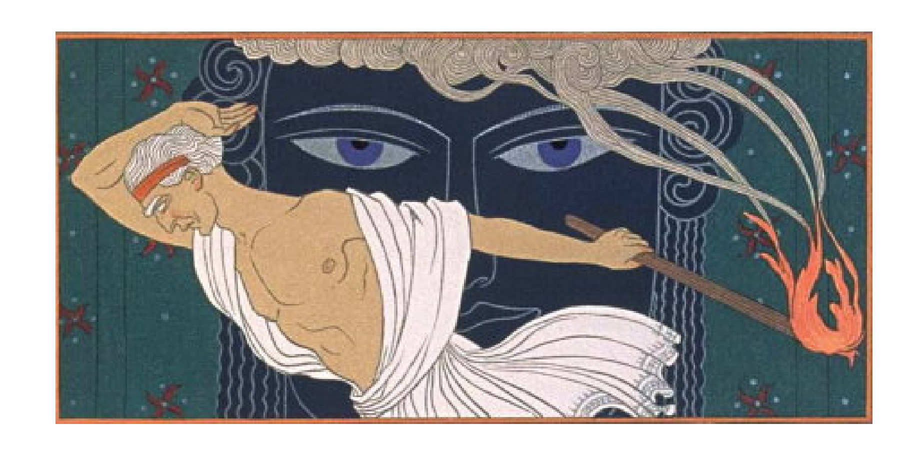
народ увидел, что Эмпедоклу дано воскрешать усопших,

Пизианакт, отец Пантеи, пришел поклониться новому богу. Под деревьями были установлены столы совершить в честь его возлияние. По обе стороны Эмпедокла рабы держали большие факелы. Глашатаи призвали, как во время мистерий, к благоговейному молчанию. Внезапно, на третьей страже, факелы погасли и ночь окутала молящихся. И был громкий голос, который звал: Эмпедокл! Когда появился свет, Эмпедокл исчез. Больше его не видел никто.

Один невольник рассказывал с ужасом, что видел красную черту, прорезавшую мрак по направлению к вершине Этны.

При хмуром свете зари верные взошли по бесплодным склонам горы. Кратер вулкана извергал сноп пламени. На пористом краю лавы, близ пылающей бездны, нашли медную полурасплавленную сандалию.





ГЕРОСТРАТ

Поджигатель

Город Эфес, где родился Герострат, тянулся вдоль устья Каистра с двумя его речными гаванями до набережной Панорма, откуда видна была на море глубоко окрашенная туманная линия Самоса. Он был обилен золотом и тканями, шерстью и розами с тех пор, как жители Магнезии, с их боевыми псами и рабами, метавшими дротики, были разбиты на берегах Меандра и прекрасный Милет был разорен персами.

Эфес был изнеженный город, где чтили куртизанок в храме Афродиты Гетеры. Эфесцы носили прозрачные туники, платья из льняной пряжи, цветом фиалковые, пурпуровые и шафранные, сарапиды цвета яблока, желтого, белого и розового, египетские ткани цвета гиацинта, с отсветамн огня и с изменчивыми оттенками моря, и персидские калазирисы из легкой, но плотной ткани, усеянной по багряному фону золотыми зернами наподобие чашечек.

Между горой Приона и высокой отвесной скалой на берегу Каистра виднелся великий храм Артемиды. Ушло сто двадцать лет на его постройку. Прочная живопись украша-

ла его внутренние помещения, потолок там был из кипариса и эбенового дерева. Тяжелые колонны, подпиравшие потолок, были выкрашены суриком. Святилище богини было небольшое, овальное. Посредине возвышался таинственный черный камень, конический и блестящий, с золотыми лунными знаками; это была Артемида. Трехугольный жертвенник также был высечен из черного камня. Другие были сделаны из черных плит с правильными отверстиями для жертвенной крови. По стенам висели широкие стальные с золотой рукоятью клинки для заклания; гладкий пол был усеян окровавленными повязками.

Большой темный камень имел два сосца, твердых и острых. Такова была Артемида Эфесская. Ее божественное происхождение терялось во мраке египетских могил, и ей надлежало поклоняться по персидским обрядам. Она обладала сокровищем, скрытым в подобии улья, выкрашенного зеленым, с пирамидальною дверью, усаженной медными гвоздями. Здесь, среди перстней, больших монет и рубинов, покоился манускрипт Гераклита, провозгласившего царство огня. Философ сам положил его на дно пирамиды во время ее сооружения.

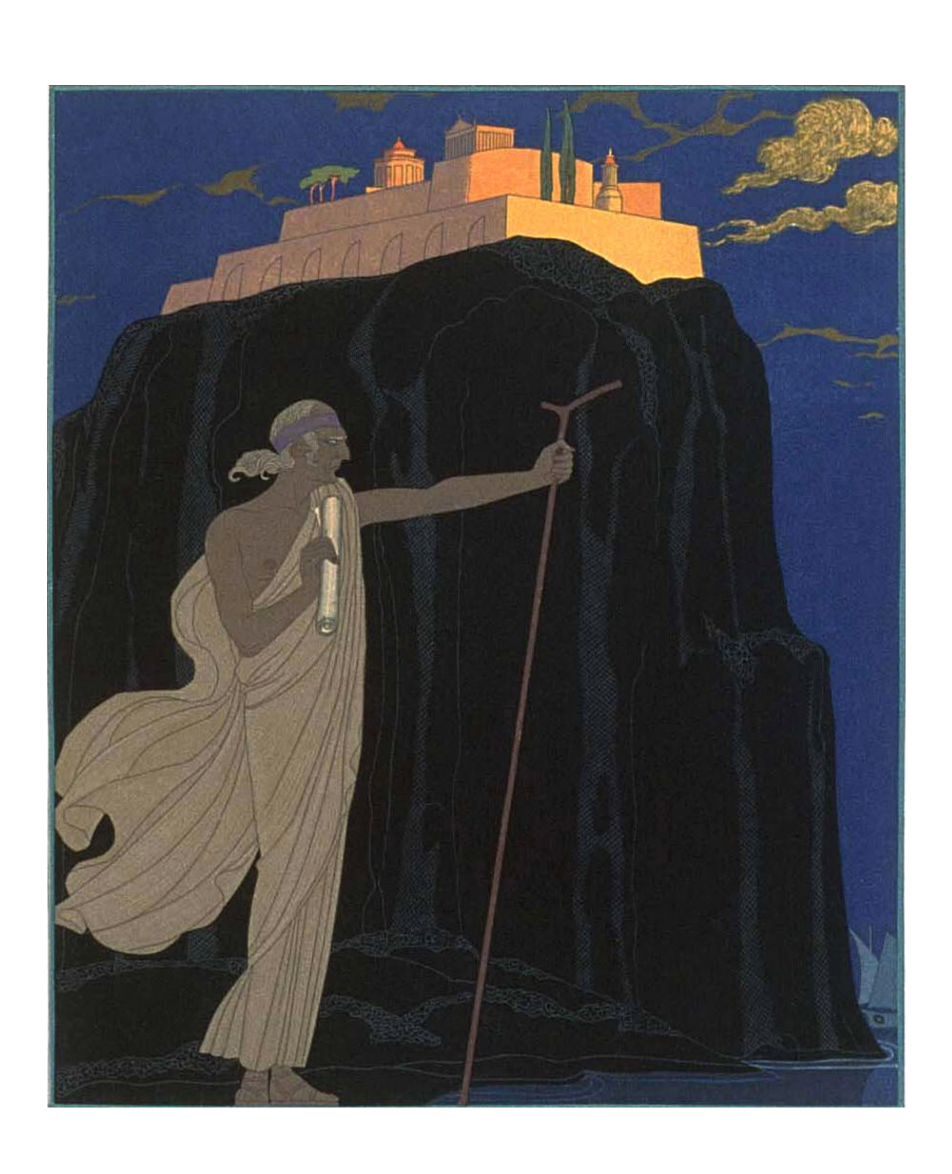
Мать Герострата была жестока и надменна. Никто не знал его отца. Впоследствии Герострат объявил, что он — сын огня. На его теле, под левою грудью, был знак полумесяца, который стал цвета пламени, когда Герострат был подвергнут пытке. Бывшие при рождении его предсказывали, что он будет принадлежать Артемиде. Он был вспыльчив и жил девственным. Лицо его было изборождено мрачными складками и цвет кожи смугл. С детства любил он проводить время под высокой скалой возле Артемизиона. Оттуда смотрел он, как проходят жертвенные процессии. Так как его происхождение было неведомо, он не мог сделаться жрецом богини, хотя считал себя ей посвященным. Жреческой коллегии приходилось не раз запрещать ему вход в святилище, где мечтал он раздвинуть драгоценную тяжелую ткань, скрывавшую Артемиду. Он затаил ненависть и поклялся силой овладеть тайной.

Имя «Герострат» казалось ему несравнимым ни с чем, а сам он — выше всего человечества.

Он жаждал славы. Сначала он примкнул к философам, что проповедовали учение Гераклита, но они не знали его тайной части, так как она была заключена в пирамидальном тайнике сокровищницы Артемиды. Герострат только угадывал мысли учителя. Он укрепил в себе презрение к окружавшим богатствам и питал глубокое отвращение к любви куртизанок. Думали, он хранил свою девственность богине. Но не сжалилась над ним Артемида.

Он показался опасным совету старейшин, охранявшему храм. С разрешения сатрапа его изгнали в предместье. Он стал жить на склоне Коресса, в пещере, вырытой древними. Оттуда он глядел по ночам на священные лампады Артемизиона. Есть основания думать, что туда приходили к нему беседовать персы из числа посвященных. Но более похоже на правду, что решимость осенила его сразу. Действительно, как он сознался под пыткой, ему внезапно открылось значение слов Гераклита: «путь сверху». И то, зачем философ учил, что лучшая душа — самая сухая и самая огненная. Герострат утверждал, что в этом смысле душа его — самая совершенная, и он желал обнародовать это. Своему поступку он не давал другого объяснения, кроме любви к славе и наслаждения слышать, что имя его у всех на устах. Лишь его царство, как он говорил, было бы абсолютным, ибо отец его неведом и Герострат короновал бы Герострата; он — сын своего дела, а дело это — сущность вселенной, и он был бы в одно время царем, философом и богом,— единственный между людьми.

В» 356 году, в ночь 21 июля, луна не появилась на небе, и страсть Герострата достигла небывалой силы. Он решил нарушить запрет тайного покоя Артемиды. Ущельем горы проскользнул он к берегу Каистра и взошел по ступеням храма. Стража спала возле священных лампад. Схватив одну из них, Герострат проник в святилище. Здесь был разлит крепкий запах нарда. Блистали черные полосы эбенового потолка. Овал комнаты разделялся завесой из пурпура и золотых нитей, скрывавшей богиню.



Герострат сорвал ее, задыхаясь от страсти.

Лампада озарила ужасный конус с прямыми сосцами. Герострат схватил их обеими руками и жадно обнял священный камень.

После он обошел его и увидел зеленую пирамиду, где было сокровище. Схватившись за металлические гвозди дверцы, он сорвал ее.

Его пальцы погрузились в еще никем не тронутые драгоценностн, но он взял только свиток папируса со строками, начертанными Гераклитом. При свете священной лампады он прочел их и познал все... И тотчас воскликнул: «Огонь! Огонь!»

Он притянул завесу Артемиды и поднес горящую светильню к ее нижнему краю. Ткань сначала горела медленно. Потом, благодаря пропитавшим ее испарениям благовонкых масел, синеватое пламя поднялось к эбеновой обшивке потолка. Отблеск пожара заиграл на ужасном конусе.

Пламя обвило капители колонн и поползло вдоль сводов. Один за другим золотые светильники, принесенные в дар Артемиде, падали с подвесов на плиты с металлическим звоном. Наконец, пламенный сноп сверкнул на крыше и осветил утес. Медные черепицы осели. Герострат стоял, облитый заревом, громко выкрикивая свое имя среди ночи.

Весь Артемизиои был красною грудой во мраке. Стража схватила преступника. Ему заткнули рот, чтобы он перестал кричать свое имя. Он был брошен, связанный, в подземелье на время пожара.

Артаксеркс тотчас прислал приказ его пытать. Он дал лишь те показания, что уже приведены.

Двенадцать городов Ионии запретили под страхом смерти передавать имя Герострата будущим поколениям, но глухая молва донесла его до нас.

В ночь, когда Герострат сжег храм Эфесский, родился Александр, царь Македонии.





КРАТЕС

Циник

Он родился в Фивах, был учеником Диогена и также знал царя Александра. Его отец Аскондас был богат и оставнл ему двести талантов.

Однажды он отправился посмотреть трагедию Эврипида, и на него сильно подействовало явление Телефа, царя Мизии, в лохмотьях нищего и с корзиной в руках. Тут же в театре он встал и громко объявил, что готов раздать всем, кто хочет, свои двести талантов наследства, сам же будет отныне довольствоваться одеждой Телефа.

Фиванцы приняли это со смехом и собрались перед его домом, но сам он смеялся всех больше. От им выбросил в окно свои деньги и все прочее имущество, взял плащ из холста, котомку и ушел.

Прибыв в Афины, он стал бродить по улицам, отдыхая, спиной к стене, среди человеческого вала. Он применил на деле все, чему учил Диоген, но его бочка казалась ему лишней. Человек, по мнению Кратеса, не улитка и не рак-отшельник. Он жил совсем голый, среди нечистот, и подбирал корки хлеба, гнилые оливы и сухие рыбьи кости, чтобы

наполнить свою суму. Он говорит про нее, что это — обширный и богатый город, где нет ни бездельников, ни куртизанок, и он доставляет своему царю довольно и рыбы, и чеснока, и фиг, и хлеба. Так Кратес носил свое отечество на собственной спине, и оно кормило его.

Он не мешался в общественность, даже чтоб осмеивать ее, и не любил издеваться над царями. Он не одобрял поступка Диогена, который однажды воскликнул: «Люди, приблизьтесь!», а когда подошли, стал бить их палкой, приговаривая: «Я звал людей, а не дерьмо». Кратес был мягок с людьми.

Его не могло опечалить ничто. Раны были ему привычны. Он только жалел, что его тело недостаточно гибко, чтобы зализывать их, как делают собаки. Он плакался также на необходимость принимать твердую пищу и пить воду.

По его мнению, человеку следовало бы довольствоваться самим собой, без всякой помощи извне. По крайней мере, он не ходил за водой, чтобы мыться. Когда грязь ему мешала, он чесался о стену, замечая, что совершенно так делают ослы.

Он редко говорил о богах и не задумывался о них: ему было все равно, существуют они или нет, они — он звал хорошо — ничего ему не могут сделать. Кроме того, он им ставил в вину, что они сделали людей несчастными самим строением тела, повернув им лица к небу и тем лишив их возможностей, открытых большинству животных, ходящих на четырех лапах. Раз боги решили, что нужно есть, чтобы жить, — рассуждал Кратес, — они должны были обратить людям лица к земле, где произрастают злаки: нельзя кормиться воздухом и звездами.

Жизнь не была к нему благосклонна. У него гноились глаза, так как он не берег их от едкой пыли Аттики. Неизвестная накожная болезнь покрыла его опухолями. Он чесал их ногтями, которых не стриг никогда, и находил, что тем получает двойную выгоду — стирает ногти и в то же время получает облегчение. Длинные волосы стали у него похожими на плотный войлок, и он растрепал их по голове, чтобы защищаться от солнца и дождя.

Когда Александр пришел на него взглянуть, Кратес ему не сказал ни одного остроумного слова, но отнесся к нему так же, как к прочим зрителями, не делая различия между царем и толпой. У него не было никакого мнения о великих. Они интересовали его так же мало, как боги. Его занимали только люди вообще и способ прожить с наибольшей простотой, какая возможна. Ругательства Диогена так же смешили его, как его претензии менять чужие нравы. Кратес ценил себя слишком высоко для таких вульгарных забот. Они переделал изречение, изображенное на фронтоне Дельфийского храма, и говорил: «Живи сам по себе». Сама мысль о каком-нибудь знании казалась ему нелепой. Он изучал только связь своего тела с тем, что для него необходимо, стараясь ослабить ее, насколько возможно. Диоген кусался, как собака, но Кратес жил, как собака.

Был у него ученик, по имени Метрокл, богатый юноша из Маронеи. Сестра его Гиппархия, прекрасная и знатная, влюбилась в Кратеса.

Достоверно, что, движимая любовью, она пришла к нему. Это кажется невозможным, но это так. Ничто не отвратило ее, — ни нечистоплотность циника, ни его совершенная нищета, ни ужасное общественное положение. Он предупредил ее, что живет, как собака, на улице и подбирает кости в грудах нечистот. Он сказал ей заранее, что в их общей жизни не будет ничего скрытого и он будет брать ее при всех, когда захочется, как кобели делают с суками. Гиппархия на все это дала согласие.

Родители пытались ее удерживать, но она пригрозила самоубийством, и им стало жалко. Она покинула город Маронею, нагая, с распущенными волосами, прикрытая одной старей дерюгой, и стала жить с Кратесом, одеваясь подобно ему. Говорят, у нее был от него ребенок, Пазакл. Но об этом достоверно не известно.

Гиппархия была добра и сострадательна к бедным. Она гладила больных своими руками и без малейшего отвращения зализывала у страдавших кровоточивые раны в убеждении, что они для нее то же, что овца для овцы или собака для собаки. Когда было холодно, Кратес и Гиппар-

хия спали с бедными, прижимаясь к ним и стараясь им дать часть теплоты своего тела. Из тех, кто к ним приближался, они не давали предпочтения никому. С них было довольно, что это — люди.

Вот все, что дошло до нас о жене Кратеса. Мы не знаем, когда и как она умерла. Ее брат, Метрокл, преклонялся перед Кратесом и стал его подражателем. Но у него не было спокойствия. Его здоровье было нарушаемо постоянными ветрами, которых он не мог сдержать. Он пришел в отчаяние и решил умереть. Кратес узнал об его несчастии и решил его утешить. Он наелся волчанки, пошел к Метроклу и спросил, действительно ли стыд за свою слабость так его удручает. Метрокл признался, что не в силах больше переносить такое наслание. Тогда Кратес, которого вспучило от волчанки, испустил ветры в присутствии своего ученика и принялся уверять его, что все люди по самой природе подвержены той же неприятности. Потом он укорял его за стыд перед другими, приводя себя самого в пример. В заключение он издал еще несколько звуков, взял Метрокла за руку и увел с собой.

Долгое время они жили вместе на улицах Афин, без сомнения, с Гиппархией. Они говорили друг с другом очень мало. Ничто не вызывало в них стыда. Хотя собаки, что рылись с ними вместе а кучах нечистот, казалось, относились к ним с почтением, но можно было думать, что, дойми их голод, они бы все перегрызлись друг с другом. Однако, биографы не сообщают ни о чем в этом роде.

Известно, что Кратес умер в старости. Под конец он не сходил с места, растянувшись под навесом одного склада в Пирее, где моряки хранили от дождя тюки из гавани.

Он перестал ходить на поиски мясных отбросов для еды и даже больше не хотел протягивать руки поднять их.

Однажды его нашли мертвым, иссохшим от голода.





СЕПТИМА

Заклинательница

Септима была рабыня в городе Гадрумете, под солнцем Африки. И мать ее, Амоена, была рабыней, и мать той была тоже рабыней, и все они были прекрасны и безвестны. И подземные боги открыли им напиток любви и смерти.

Город Гадрумет был белый, и камни дома, где жила Септима, белые с розоватым отливом.

Песок прибережья был усеян раковинами, приносимыми теплым морем от самой земли Египта, с того места, где семь устий Нила изливают ил семи разных цветов. В приморском доме, где жила Септима, было слышно, как умирают серебряные гребни Средиземного моря, а у подножия дома веер блестящих лазоревых линий простирался до самого горизонта.

Руки Септимы были в ладонях окрашены золотом, а концы пальцев — нарумянены. Губы ее пахли миррой, и едва трепетали подрисованные веки. Такой ходила она по дороге предместий, нося в жилище работников мягкие хлебы в корзине.

Септима полюбила одного юношу, свободного, Секстилия, сына Дионисия.

Но не позволено быть любимыми тем, кто знает подземные тайны, ибо подвластны они врагу любви, имя которому Антэрос. И как Эрос правит блеском глаз и острит наконечники стрел, так Антэрос отвращает взгляды и утоляет боль от ран. Это — благодетельный бог, живущий среди мертвых. Он не жесток, как тот. Он владеет непентесом, цветом лилии, дающим забвенье. Зная, что любовь есть худшая из земных болей, он ненавидит любовь и лечит от любви. Но он бессилен изгнать Эроса из занятого им сердца. И тогда он захватывает сердце любимого. Так борется Антэрос с Эросом. Вот отчего Секстилий не мог полюбить Септиму.

Только Эрос поднес факел к груди посвященной, Антэрос, разгневанный, овладел тем, кого она хотела любить.

Септима узнала о победе Антэроса по опущенным взорам Секстилия.

И когда пурпуровая дрожь охватила вечерний воздух, она вышла на дорогу, ведущую от Гадрумета к морю. Это — мирная дорога, где влюбленные пьют финиковое вино, опершись на гладкие стены гробниц. Легкий восточный ветер овевает ароматом кладбище. Молодая луна, еще туманная, здесь бродит неуверенно. Много бальзамированных мертвых покоятся в склепах около Гадрумета. Там же спала Фоннисса, сестра Септимы, рабыня, как и она, умершая шестнадцати лет, прежде чем кто-либо из мужчин вдохнул ее аромат.

Гробница Фонниссы была узка, как ее тело, камень давил ее груди, обвитые пеленами. У самого лба ее длинная плита стояла перед ее невидящим взглядом. С потемневших губ еще срывалось дыхание ароматов, которыми ее умастили. На вещей руке блестел обруч зеленого золота и в нем два бледных неверных рубина. В своем бесплодном сне она вечно грезила о том, чего не знала никогда.

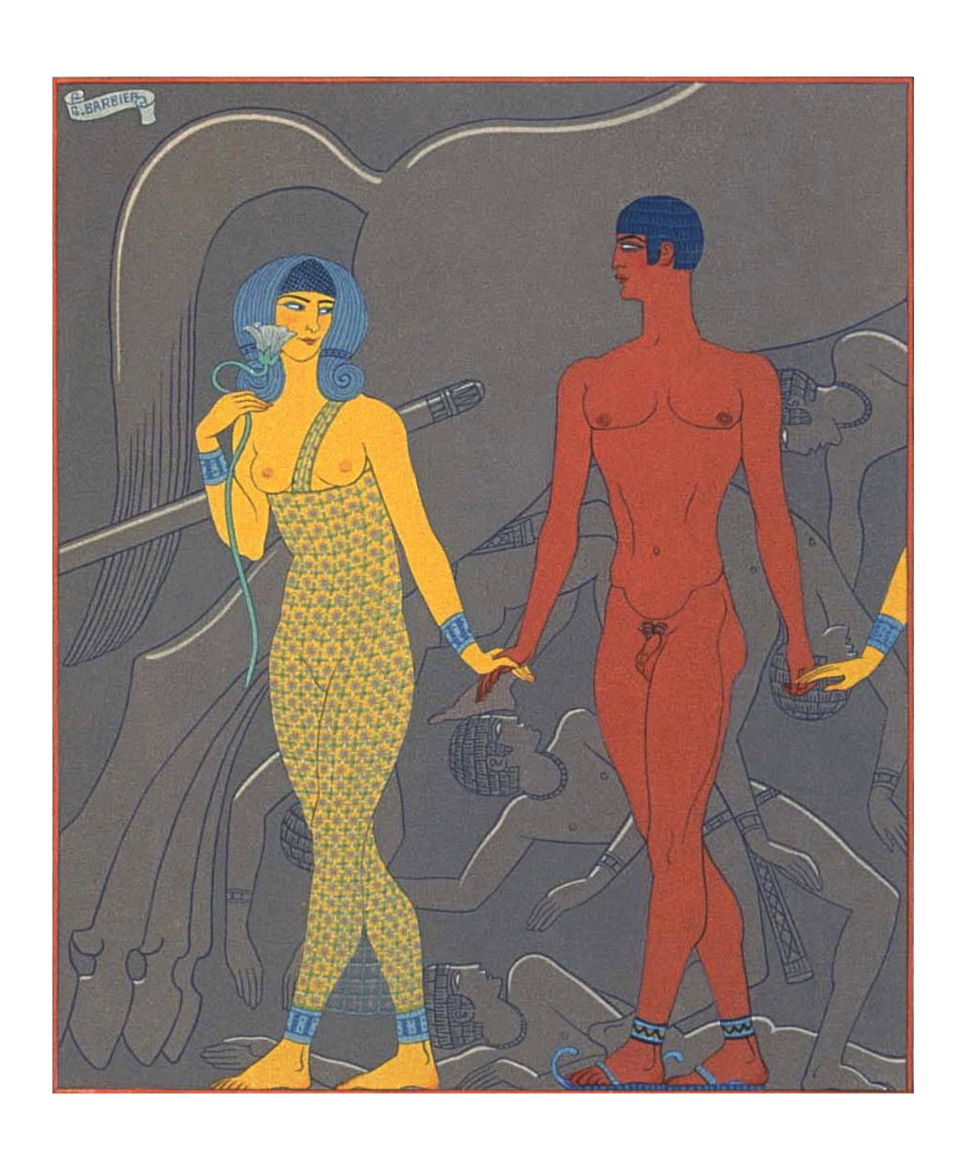
Под девственной белизною новой луны, вдоль узкой гробницы сестры, Септима припала к милосердой земле, и плакала, и билась головой об изваянную гирлянду. Она при-

жалась устами к отверстию, куда совершали возлияния, и страсть ее достигла предела. «О, сестра, — говорила она, — отвратись от сна и внимай мне. Маленькая лампада, что озаряет первые часы умерших, погасла. Из твоих пальцев выскользнул сосуд цветного стекла, который мы тебе дали. Нить ожерелья порвалась и золотые зерна рассыпались вокруг шеи. Все наше — не для тебя уже, и Тот, Кто носит ястреба на голове, теперь владеет тобою. Выслушай меня, ибо имеешь ты власть донести мои слова. Иди в обитель, которую ты знаешь, и умоли Антэроса. Умоли богиню Гатор. Умоли того, чье рассеченное тело море несло в ящике до самого Библоса. Сестра моя! Сжалься над неведомой тебе болью. Семью звездами халдейских магов я заклинаю тебя. Во имя подземных владык, призываемых в Карфагене — Иао, Абриао, Салбаал, Батбаал — прими мое заклинание. Сделай, чтобы Секстилий, сын Дионисия, был снедаем любовью ко мне, Септиме, дочери матери нашей Амоены. Пусть он сгорает ночами. Пусть ищет меня возле твоей гробницы, о Фониссса! Или уведи нас обоих во всемогущее жилище мрака. Моли Антэроса заледенить наше дыхание, если не хочет он, чтобы воспламенил его Эрос. Благоухающая усопшая, прими возлияние моего голоса. Ашраммашалала!»

Тотчас дева, обвитая пеленою, с незакрытыми зубами, восстала и опустилась под землю.

И Септима, оробевшая, бежала меж саркофагов. До второй стражи она оставалась среди мертвецов. Она следила за убегающей луной, она отдавала грудь соленым жалам морского ветра. Ее обласкало первое золото дня. Потом пошла она обратно в Гадрумет, и длинная ее голубая одежда развевалась позади.

Между тем Фонисса, со своим негнущимся телом, блуждала в подземных пространствах. Но Имеющий ястреба на голове не принял ее моления, и богиня Гатор осталась недвижной на своем разукрашенном ложе. И не могла Фонисса найти Антэроса, ибо не знала желаний. Но в увядшем своем сердце она ощутила жалость, какую мертвые питают к живущим.


G. BARBIER

И вот на вторую ночь, в час, когда мертвецы получают свободу для волхований, с ногами, обвитыми пеленою, она шла но улицам Гадрумета.

Грудь Секстилия мерно вздымалась во сне при каждом вздохе, и лицо его было обращено к потолку, расчерченному ромбами. И мертвая Фонниссa, в благовонных пеленах, села возле него. У нее не было ни внутренностей, ни мозга, но в груди было вложено ее иссохшее сердце.

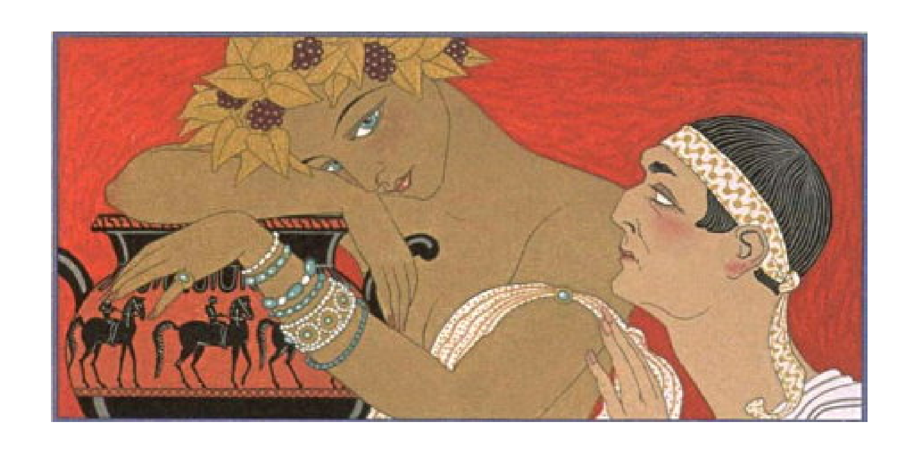
В тот миг Эрос поборол Антэроса и овладел базамированным сердцем Фонниссы. Тотчас пожелала она тела Секстилия, чтобы лежало оно между нею и сестрою Септимою в жилище мрака. Фонниссa прильнула своими окрашенными губами к живым устам Секстилия, и жизнь отлетела от него, как дым.

Оттуда пришла она к рабыне Септиме и взяла ее за руку. И спящая Септима повиновалась руке сестры. И поцелуй Фонниссы, и пожатие руки Фонниссы почти в один час принесли смерть Септиме и Секстилию. Таков был печальный конец борьбы Эроса с Антэросом. И подземным владыкам достались разом — рабыня и свободный.

Секстилий покоится в некрополе Гадрумета между заклинательницей Септимой и сестрой ее, девственной Фонниссой.

Текст заклинания начертан на свинцовой таблице, свернут и пробит тем гвоздем, что опустила Септима через отверстие для возлияний в гробницу сестры своей.





ЛУКРЕЦИЙ

Поэт

Лукреций явился на свет в большом семействе, стоявшем совсем в стороне от общественной жизни. Первые дни его прошли в тени черного портика высокого дома в горах, с строгим атриумом и безмолвными рабами. С самого детства его окружало презрение к политике и к людям. Благородный Меммий, его ровесник, разделял игры в лесу, затеваемые Лукрецием. Они вместе удивлялись морщинам старых деревьев и следили, как зыблется под солнцем листва, словно освещенный зеленым парус, усыпанный золотыми пятнами. Они часто наблюдали полосатые спины кабанов, роющих землю. Им попадались неугомонные рои пчел и движущиеся полчища куда-то спешащих муравьев.

Однажды на лесной опушке они вышли на лужайку, окруженную старыми пробковыми дубами, стоявшими так близко друг к другу, что круг их открывал в небе голубой колодец. Бесконечное спокойствие царило в этом убежище. Казалось, стоишь на широком светлом пути, ведущем к божественной высоте. И здесь сошла на Лукреция благодать безмятежных пространств.

Вместе с Меммием оставил он спокойный храм лесов для изучения ораторского искусства в Риме. Старый патриций, владевший высоким домом, дал ему наставника-грека и сказал, чтоб он не возвращался раньше, чем приобретет искусство презирать человеческие дела. Лукреций его больше не видел: он умер одиноким, ненавидя по-прежнему суету общественной жизни.

Когда Лукреций вернулся, он ввел в высокий опустелый дом, к строгому атриуму, среди безмолвных рабов, африканскую женщину, прекрасную, дикую и злую.

Меммий тоже вернулся в дом своих предков. Лукреций нагляделся на кровавые заговоры, на войны партий, на политический разврат. Теперь он был влюблен.

Вначале жизнь была для него очаровательной. Африканка любила стоять у разрисованных стен, прислоняясь к ним массой своих курчавых волос, и всем телом отдаваться подолгу неге ложа. Кубки, полные темным вином, брала она руками, отягченными изумрудами, мерцающими внутри.

У нее была своеобразная привычка — поднимать кверху палец и вскидывать голову. Источник ее улыбок был мрачен и глубок, как реки Африки. Вместо того, чтобы прясть шерсть, она терпеливо рвала ее на мелкие клочья, летавшие вокруг.

Лукреций пламенно желал слиться с ее прекрасным телом. Он сжимал ее груди, цветом подобные металлу, и приникал устами к темно-фиолетовым губам. Они менялись словами любви, то смеясь, то вздыхая, но однажды слов не хватило. И они коснулись упругой матовой завесы, разделяющей любовников. Их страсть дошла до ярости и изменила свой лик. Был достигнут тот острый предел, когда она разливается вокруг тела, не проникая в него. Африканка вся сжалась и стала далекой. Лукреций был в отчаянии, что не смог увенчать любовь. Женщина сделалась надменной, угрюмой, молчаливой, подобно атриуму и рабам.

Лукреций бродил по книгохранилищу. Здесь он развернул свиток, на котором был переписан трактат Эпикура.

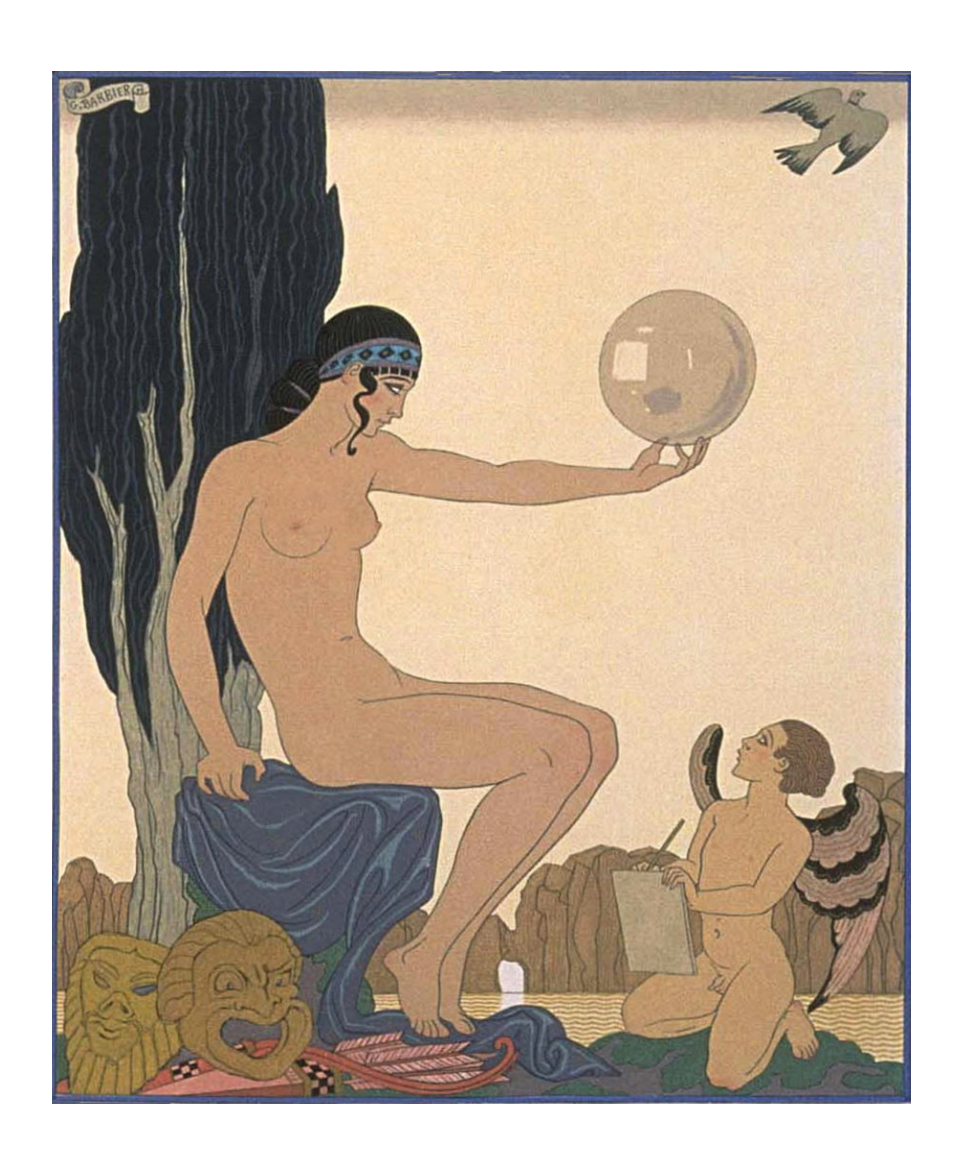
И разом открылась ему изменчивость вещественного мира и бесполезность бороться с идеями. Вселенная показалась ему похожей на маленькие клочки шерсти, разбросанные по залам пальцами африканки. Гроздья пчел, колонны муравьев, зыблющаяся ткань листвы, — все это стало для него лишь сочетанием сочетаний атомов. В самом теле своем он почувствовал невидимый, взаимно враждебный народ, стремящийся разъединиться. И любимые взгляды показались ему не более, чем лучами, все-таки материальными, и весь образ прекрасной дикарки — лишь милой раскрашенной мозаикой.

И почувствовал он, что смысл всего этого бесконечного движения — печален и бесцелен. Как некогда на кровавые заговоры Рима с их наглыми шайками вооруженных клиентов, он глядел на круговращение группы атомов, окрашенных одинаковой кровью и оспаривающих друг у друга свое темное первенство. И увидел он, что смертный распад — только освобождение этой буйной толпы, которая тотчас отдастся тысячам других ненужных движений.

И вот, когда свиток папируса, где греческие слова сплетались подобно атомам мира, сделал все ясным для Лукреция, он вышел в лес через черный портик высокого дома предков.

Он увидел полосатые спины кабанов, как всегда уткнувшихся носом в землю. Потом, миновав опушку, он очутился в знакомом ему лесном безмятежном храме, и взгляд его потонул в голубом небесном колодце. Здесь он обрел мир. Отсюда предстала ему подобная муравейнику бесконечность вселенной: все камни, все растения, все деревья, все звери, все люди с их красками, с их страстями, с их орудиями, — в истории всех этих различных вещей, их рождения, их болезни и их смерти. И сквозь смерть, всеобщую и неизбежную, видел он ясно одну только смерть африканки. И плакал...

Он знал, что плач происходит от особого сжатия небольших желез под веками, приводимых в движение рядом атомов, исходящих из сердца, а тому дан толчок последовательными световыми образами, что отделяются от


G. BARBIER

поверхности тела любимой женщины. Он знал, что любовь — не что иное, как набухание атомов, стремящихся соединиться с другими. Он знал, что печаль, причиняемая смертью любимой — только худшее из земных заблуждений, потому что умершая перестала быть несчастной и уже не страдает, тогда как плачущий по ней болеет собственным горем и мрачно думает о собственной смерти. Он знал, что ни у кого из нас не останется двойника, чтоб проливать слезы над собственным трупом, простертым у ног его. Он знал хорошо, что печаль, и любовь, и смерть — лишь пустые образы, когда смотришь на них из спокойного пространства, где нужно замкнуться. И все же он по-прежнему плакал, и желал любви, и боялся смерти…

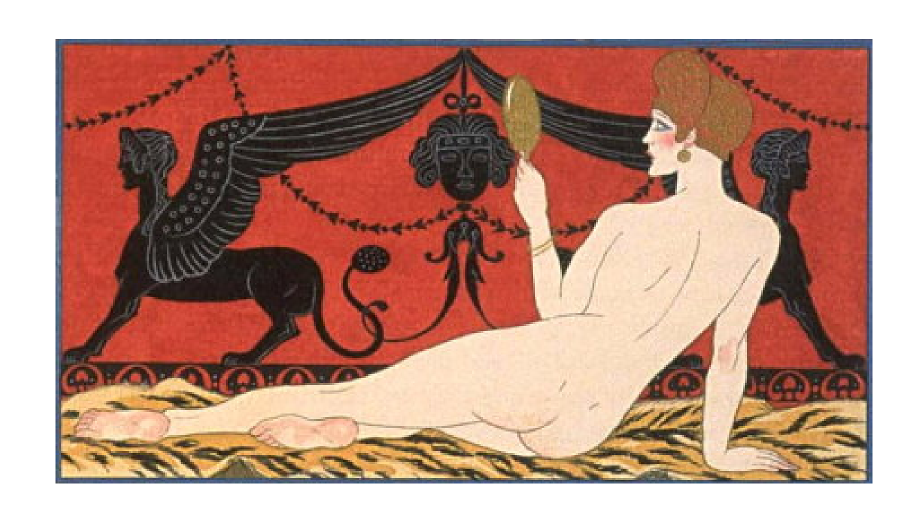
Вот почему он вернулся в высокий и мрачный дом предков и подошел к прекрасной африканке.

Она варила на жаровне напиток в металлическом сосуде. В его отсутствие она размышляла тоже, и думы ее восходили к таинственному источнику ее улыбок.

Лукреций следил за еще кипевшим питьем. Оно мало-помалу светлело и стало похожим на мутно-зеленое небо. И прекрасная африканка вскинула голову и подняла палец кверху. Лукреций выпил зелье.

И тотчас исчез его разум, и забыл он все греческие слова и свиток папируса. И впервые, безумный, он узнал любовь, а ночью, отравленный, он узнал смерть.





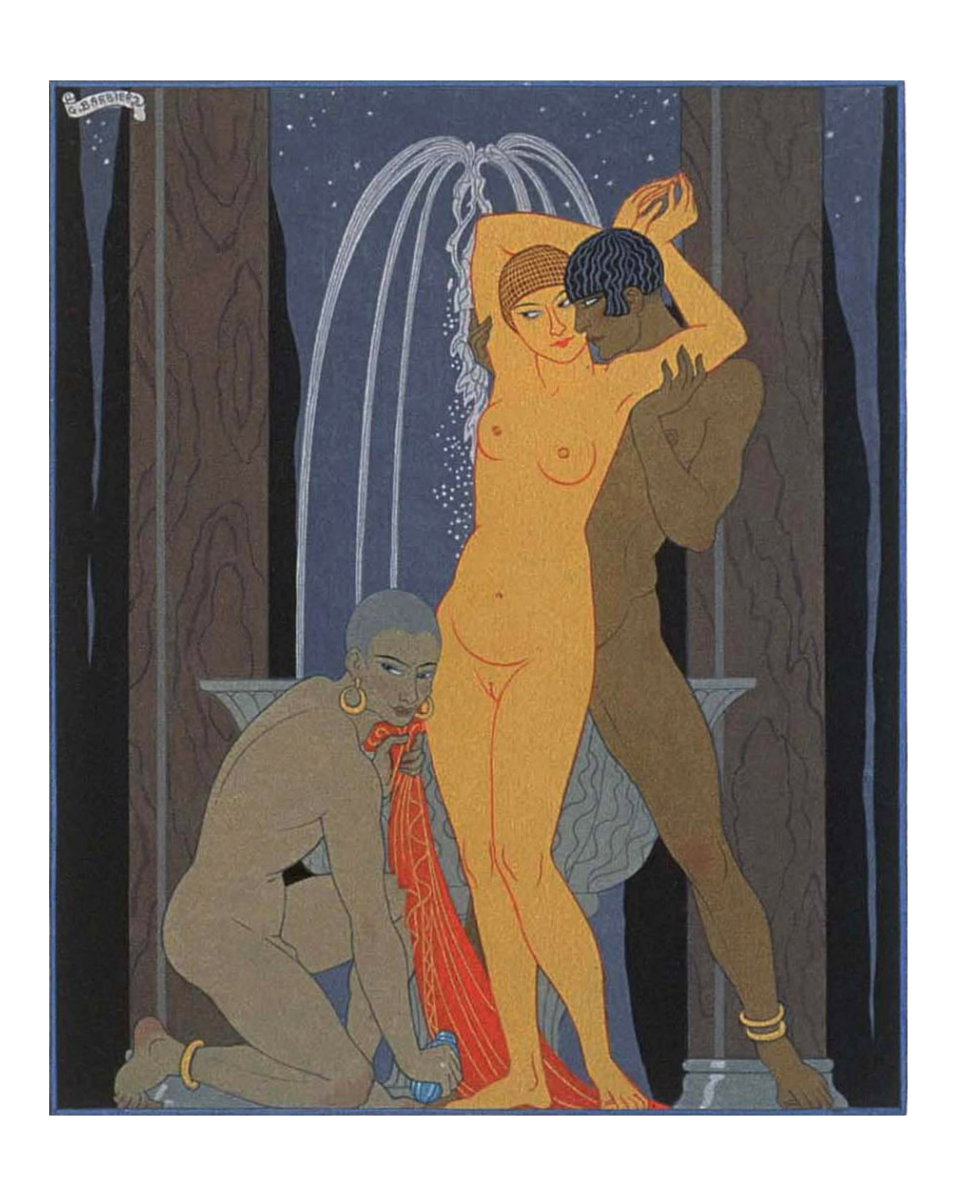
КЛОДИЯ

Развратная матрона

Она была дочерью консула Аппия Клавдия Пулхера. Когда ей было несколько лет, она уже отличалась от братьев и сестер жгучим блеском глаз. Старшая сестра, Терция, рано вышла замуж, а младшая вполне подчинялась ее всем капризам. Ее братья, Аппий и Кай, уже в детстве жадничали лягушками в масле и ореховым печеньем, что им давали, а со временем стали скупы и на сестерции. Но третий, Клодий, красивый и женственный, не отставал от сестер.

Иногда Клодия, с загоревшимися глазами, уговаривала их надевать на него тунику с рукавами, головную сетку из золотых нитей, а под грудью подвязывать мягким поясом; потом они покрывали его огненно-красным покрывалом и уводили в свои комнаты, где он ложился в постель со всеми тремя. Ему всех больше нравилась Клодия, но он также лишил невинности Терцию и младшую.

Когда Клодии было восемнадцать лет, умер ее отец. Она жила в доме на Палатинской горе. Брат ее Аппий управлял


G. BARBIER

наследственным имением, а Кай готовился к общественной деятельности.

Клодий, все еще изнеженный и безбородый, спал между сестрами, которых звали ту и другую: Клодия. Они начали тайно ходить с ним в бани. Там они давали четверть асса рослым рабам, их массировавшим, потом отдавались им. С Клодием поступали так же, как с сестрами, и в их присутствии. Таковы были их удовольствия до брака.

Младшая вышла замуж за Лукулла, и он увез ее в Азию, где воевал с Митридатом. Клодия взяла себе в мужья своего двоюродного брата, Метелла, честного и толстого человека. В эти тревожные времена он имел ум консервативный и положительный. Клодия не могла выносить его деревенской грубости. Она уже мечтала о чем-нибудь новом для своего милого Клодия.

В то время умами начинал овладевать Цезарь, и Клодия решила, что это нужно расстроить. Она заставила Помпония Аттика привести к ней Цицерона. Ее общество было остроумным и изысканным. Здесь были Лициний Кальв, молодой Курион по прозвищу «Девочка», Секстий Клодий, вечно занятый бегами Игнаций с своей компанией, Катулл из Вероны и Целий Руф, влюбленный в Клодию. Метелл грузно сидел, не говоря ни слова. Рассказывали скандальные истории о Цезаре и Мамуре.

Вскоре Метелл был назначен проконсулом и уехал в Цизальпинскую Галлию. Клодия осталась в Риме одна с сестрой мужа, Муцией. Цицерон окончательно пленился большими огненными глазами Клодии. Он уже подумывал развестись с своей женой Теренцией и надеялся, что Клодия бросит Метелла. Но Теренция ему открыла на нее глаза и привела его в ужас. Перепуганный Цицерон отказался от своих желаний. Но Теренция хотела большего, и Цицерон был вынужден порвать с Клодием.

Брат Клодии, между тем, был занят делом. Он добивался любви Помпеи, жены Цезаря. В ночь на праздник Доброй Богини в доме Цезаря, который тогда был претором, должны были оставаться одни только женщины. Помпея одна совершала жертвоприношение. Клодий, как с ним де-

лала это, бывало, сестра, переоделся цитристкой и проник к Помпее. Его узнала одна из рабынь. Мать Помпея подняла тревогу и разыгрался громкий скандал. Клодий пытался защищаться и стал клясться, что в это самое время он был в доме Цицерона. Теренция принудила своего мужа отрицать это, и Цицерон дал показание против Клодия.

С тех пор Клодий потерял всякое значение для партии знатных. Сестре его только что перешло за тридцать, и она была более пылкой, чем когда-либо. Ей пришла мысль устроить усыновление Клодия плебеем, чтоб он мог сделаться народным трибуном. Уже вернувшийся Метелл угадал ее планы и насмеялся над ней. Так как в то время в ее объятиях не было Клодия, она позволила себя любить Катуллу.

Муж ее Метелл казался нм ненавистным, и она решила от него освободиться. Однажды, когда он, усталый, вернулся из сената, она дала ему напиться. Метелл упал мертвым в атриуме. Теперь Клодия была свободной. Она оставила дом мужа и тотчас вернулась на Палатинскую гору разделить уединение Клодия. Сестра ее убежала от Лукулла и тоже присоединилась к ним. Они снова начали жизнь втроем и взялись за свои коварные замыслы.

Прежде всего, Клодий сделался плебеем и был избран народным трибуном. Несмотря на женственную грацию, у него был голос сильный и звонкий. Он добился изгнания Цицерона, велел срыть его дом на своих глазах и поклялся разорить и умертвить его всех друзей. Цезарь был проконсулом Галлии и ничего не мог сделать.

Между тем, Цицерон с помощью Помпея восстановил свое влияние и добился того, что в следующем году он был возвращен. Ярость молодого трибуна дошла до крайности. Он бешено обрушился на Цицеронова друга Милона, который тогда домогался консульства.

Пользуясь ночной темнотой, он пытался убить его, сбив с ног его рабов, несших факелы.

Расположение народа к Клодию слабело. Распевались непристойные куплеты на Клодия и Клодию. Цицерон обличил их в беспощадной речи: Клодия там сравнивалась с Медеей и Клитемнестрой. Наконец, бешенство брата и сес-

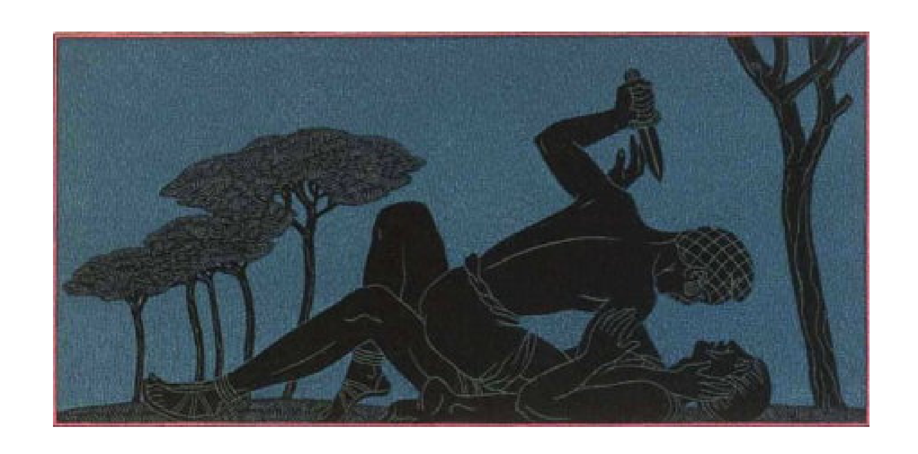
тры вырвалось наружу. Клодий пытался поджечь дом Милона, но был убит охранявшими его рабами.

Клодия была в отчаянии. Она брала в любовники и бросала одного за другим: Катулла, после — Целия Руфа, потом Игнация, чьи друзья водили ее по тавернам последнего разбора. Но любила она только своего брата Клодия. Ради него она отравила мужа, ради него собрала и увлекла за собой шайку поджигателей.

С его смертью исчез у нее смысл жизни. На она все еще была прекрасной и страстной. У нее был сельский дом на дороге к Остии, сады у Тибра и в Байях. Там она нашла себе убежище. Она пробовала развлечься сладострастными танцами с женщинами. Но это ее не удовлетворяло. Ум ее был все еще полон развратными образами Клодия, и он вечно виделся ей, безбородый и женственный. Вспоминалось ей, как был он захвачен килийскими пиратами и они наслаждались его нежным телом. И одна таверна приходила ей на память, где она бывала с ним. Наружная дверь, вся измазанная углем, и люди, пившие там, с крепким запахом и волосатою грудью. Ее снова потянуло в Рим.

На первой страже она бродила по перекресткам и узким переулкам. Все тот же был вызывающей блеск ее глаз. Ничто не могло потушить его. Она испытала все: и мокла под дождем, и лежала в грязи. Из бань она шла в каменные каморки; и подвалы с рабами, играющими в кости, и низкие залы, где пьянствовали повара и конюхи, — все было ей знакомо. Она поджидала прохожих на уличной мостовой.

Погибла она в душную ночь, под утро, жертвой странного извращения, которое приняла одна ее старая привычка. Какой-то рабочий, сукновал, заплатил ей четверть асса. Он подстерег ее в предутренних сумерках, в аллее, чтоб отнять деньги, и задушил. Ее труп с широко открытыми глазами он бросил в желтые воды Тибра.



ПЕТРОНИЙ

Писатель

Он родился во дни, когда бродячие комедианты в зеленых одеждах заставляли дрессированных поросят прыгать через горящие обручи, когда бородатые привратники в вишневых туниках шелушили горох в серебряные блюда перед изящными мозаиками около входов вилл, когда отпущенники, набитые сестерциями, добивались в провинциальных городах муниципальных должностей, а декламаторы пели при конце обеда эпические поэмы, где язык изобиловал словами рабских тюрем и напыщенным многословием, занесенным из Азин.

Его детство протекло в роскоши. Он не надел бы дважды одной одежды из тарского льна. Серебро, раз упавшее в атриуме на пол, выметали вместе с сором. Стол был из блюд изысканных и необычных, и повара постоянно меняли архитектуру своих изделий. Не надо было удивляться, разбив яйцо и найдя там птичку или бояться разрезать статуэтку, выявленную в подражание Праксителевым, но из гусиной печени. Гипс которым запечатывались амфоры, покрывали густой позолотой. В ящичках из индийской слоновой кости хранились крепкие духи для участников пир-

шеств. Умывальники имели отверстия разнообразных форм и наполнялись окрашенной водой, которая, струясь, вызывала удивление.

Вся стеклянная посуда изображала радужных чудовищ. У некоторых сосудов, когда их поднимали, отпадали ручки, и из раскрывшихся боков сыпались искусственно раскрашенные цветы. Птицы из Африки, с красными шеями, перекликались в золотых клетках. За резными решетками у богато украшенных стен пронзительно кричали бесчисленныя обезьяны с мордами, похожими на собачьи. В драгоценных водоемах были небольшие пресмыкающиеся с мягкой золотистой чешуей и глазами, отливающими лазурью.

Так, Петроний жил изнеженной жизнью, думая, что сам воздух, чем он дышит, только для него напоен ароматами. Когда он сделался юношей и запер в разукрашенный ларец свою первую бороду, он начал вглядываться в окружающее. Раб, по имени Кир, служивший на арене, открыл ему много неизвестного раньше.

Петроний был мал ростом, смугл и косил одним глазом. Он был незнатного рода. У него были руки рабочего, но хорошо развившийся ум. Потому-то ему доставляло удовольствие отделывать фразы и записывать их. Они не походили ни на что уже сказанное прежними поэтами, а старались воспроизводить то, что окружало Петрония. Уже гораздо позднее у него явилась досадная претензия быть стихотворцем.

Он узнал полудиких гладиаторов, уличных вралей, людей, глядящих исподлобья, как бы стащить овощи или кусок мяса, завитых детей, гулявших с сенаторами, старых сплетников на перекрестках, судачивших о городских делах, распутных слуг, подозрительных женщин, торговок фруктами, хозяев кабаков, захудалых поэтов, плутоватых служанок, самозваных жриц и беглых солдат.

Он глядел на них своим косым глазом и подмечал в совершенстве их манеры и их поступки. Кир водил его в бани для рабов, в каморки проституток, в подземелья, где цирковые статисты упражнялись деревянными мечами. У ворот города, между гробницами, он рассказывал ему ис-

тории о людях, меняющих кожу, которые негры, сирийцы, содержателя таверн и солдаты, охранявшие кресты для казней, передавали друг другу из уст в уста.

На тридцатом году Петроний, впитавший в себя это вольное разнообразие, начал писать рассказы из жизни бродячих и разгульных рабов. Среди различных смен роскоши он узнал их нравы, в промежутках между изящными разговорами на празднествах он узнал их мысли и язык. Один над своим пергаментом, облокотясь на стол из благоуханного кедра, он чертил острой тростинкой похождения никем не знаемой черни.

При свете своих высоких окон в разрисованных окладах он представлял себе дымные факелы постоялых дворов, нелепые ночные драки, висячие деревянные светильни, замки, сбиваемые ударами топоров судейской стражи, засаленные постели с бегающими клопами и ругань островных прокураторов среди толпы бедняков, прикрытых рваными занавесями и грязным тряпьем.

Говорят, окончив шестнадцать книг своего сочинения, он позвал Кира и прочитал ему. И раб хохотал, кричал во все горло и хлопал в ладоши.

Тут у них родился план осуществить приключения, изображаемые Петронием. Тацит неверно сообщает, что он был arbiter elegantiae* при дворе Нерона и завистливый Тигеллин добился для него смертного приговора. И он вовсе не расставался с жизнью в мраморной ванне, как подобает изнеженному человеку, шепча любовные стихи.

Он скрылся вместе с Киром и кончил жизнь, скитаясь по дорогам. Наружность позволяла ему легко менять вид. Кир и Петроний — то один, то другой — несли небольшую кожаную суму с пожитками и с динариями. Спали под открытым небом у могильных насыпей и видели по ночам, как печально светят лампады надгробных памятников. Пищей был кислый хлеб и размякшие оливы. Неизвестно, приходилось ли им воровать. Бывали странствующими кол-

---

* Законодатель, судья изящного (*лат.*).

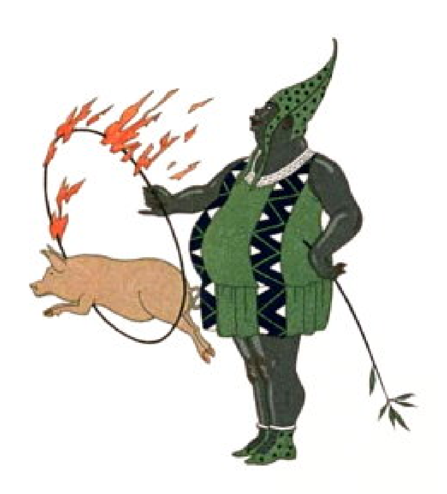
дунами, деревенскими фокусниками, товарищами бродячих солдат.

Петроний утратил искусство писателя с тех пор, как зажил им самим выдуманной жизнью.

У них были молодые друзья, ими любимые, которые потом изменили и бросили их у городских ворот, обобрав до последнего асса. Они участвовали в попойках беглых гладиаторов. Были цирюльниками и прислужниками в банях. Несколько месяцев питались жертвенным хлебом, который крали на могилах. Петроний пугал путников косым глазом и смуглым цветом лица, наводившим на мысль о коварстве.

Однажды вечером он исчез. Кир думал найти его в грязной каморке, где жила одна знакомая им уличная женщина с вечно растрепанными волосами. На там его не было.

Пьяный бродяга вонзил ему в шею широкий нож, когда они вместе лежали под открытым небом, на плитах заброшенного склепа.





СУФРАХ

Геомант

История Аладина неверно рассказывает, как африканский маг был отравлен в своем дворце и его тело, почерневшее и скорченное от силы яда, было брошено собакам в кошкам. Правда, брат его, потрясенный его видимой смертью, велел заколоть себя кинжалом, облекшись в одежды святой Фатимы; однако ж достоверно, что Мограби-Суфрахт, — таково было имя мага — только впал в сон под влиянием сильного наркотического вещества и после бежал через одно из двадцати четырех окон большого зала, пока Аладин нежно обнимал принцессу.

Не успел он коснуться земли, спустившись довольно удобно по одному из золотых желобов, через которые стекала с главной террасы вода, как дворец исчез и Суфрах очутился один среда песков пустыни. Ему даже не осталась хотя бы одна бутылка африканского вина, за которым ходил он в погреб по просьбе коварной принцессы. В отчаянии он сел под палящим солнцем и, зная, что вокруг нескончаемые пространства горючих песков, закрыл голову плащом и стал ожидать смерти. Он уж не обладал никаким талима-

ном; не было ароматов для воскурений, ни даже танцующей палочки, чтоб указать ему скрытый глубоко источник и утолить его жажду.

Ночь пришла, голубая и жаркая, но все же она несколько успокоила его воспаленные глаза. Тогда у него явилась мысль начертить на песке геомантическую фигуру и спросить, суждено ли ему погибнуть в пустыне. При помощи пальцев, он означил точками четыре главных линии, а над ними поместил заклинания Огня, Воды, Земли и Воздуха — влево и вправо, — Юга, Востока, Запада и Севера. На концах этих линий он соединил четные и нечетные точки, чтобы составить из них первую фигуру.

К его радости он увидел, что это была фигура «Высшее счастье», из чего следовало, что он избегнет гибели. Эта первая фигура должна была находиться в первом астрологическом Доме, обозначающем того, кто вопрошает. И в Доме, который называется «Сердце неба», он вторично нашел фигуру «Высшее счастье», и это показало ему, что его ожидают успех и слава. Но в восьмом Доме, который есть дом смерти, легла «Красная фигура», предвещающая кровь или огонь, что было зловещим знаком. Когда он построил фигуры всех двенадцати Домов, он отчислил из них двух «Свидетелей», а из этих одного «Судью», чтобы увериться, что весь расчет сделан правильно. «Судьей» оказалась фигура «Темница», откуда он заключил, что найдет славу с великой опасностью, в месте глухом и тайном.

Уверенный, что умрет не теперь, Суфрах принялся размышлять. Он не надеялся вторично завладеть лампой, которая вместе с дворцом была перенесена в середину Китая. Между тем, ему пришло в голову, что он никогда не доискивался, кто был истинным господином талисмана, прежним обладателем великого сокровища и садов с драгоценными плодами. Вторая фигура геомантии, раскрытая им при помощи букв алфавита, дала ему знаки: S. L. M. N., — которые он начертал на песке, а десятый Дом установил, что господин этих знаков — царь.

Тотчас Суфраху стало ясно, что волшебная лампа была частью сокровища царя Соломона. Тогда он внимательно



изучил все знаки, и «Голова дракона» указала ему то, чего он искал; фигура «Сочетание» связывала ее с фигурой «Юноши», означавшей клад, зарытый в земле, и с фигурой «Темницы», по которой можно было определить расположение замурованных сводов.

Суфрах захлопал в ладоши. Геомантическая фигура показывала, что тело царя Соломона хранилось в той же африканской земле и на пальце его еще был надет перстень со всемогущей печатью, дающей земное бессмертие: стало быть, несколько тысячелетий царь погружен в сон.

Суфрах, радостный, дожидался зари. В голубом полусвете он увидел проезжавших мимо разбойников Ба-да-уи, и взмолился к ним; они сжалились над его несчастием и дали ему небольшой мешок с фигами и выдолбленную тыкву с водой.

Суфрах пустился в путь к урочному месту. Оно было бесплодное и каменистое, меж четырех голых скал, поднятых, как пальцы, к четырем странам света. Здесь он очертил круг и произнес слова, — земля задрожала и разверзлась, и открылась мраморная плита с бронзовым кольцом. Суфрах схватился за кольцо и трижды призвал Соломоново имя. И тотчас плита поднялась, и по узкой лестнице Суфрах спустился в подземелье.

Два огненных пса выступили из двух противоположных ниш, извергая скрещивающееся пламя. Суфрах произнес магическое имя, и псы исчезли, ворча. Дальше он встретил железную дверь, которая тихо повернулась при первом прикосновении. Он прошел по коридору, высеченному в порфире. Семиконечные светильники горели вечным огнем. В глубине коридора была четырехугольная зала со стенами из яшмы. Посредине золотая жаровня разливала обильный свет. И на ложе из цельного алмаза, подобном глыбе холодного огня, было распростерто тело старца с седою бородой, с головою, венчанной короной. Рядом с царем покоилось грациозное иссохшее женское тело, с руками, еще тянувшимися для объятья. Но жар поцелуев уже угас.

И на свесившейся руке царя Соломона Суфрах увидел блистающей великую печать. Он подполз на коленях к ло-

жу, приподнял морщинистую руку и схватил соскользнувший перстень.

И тотчас свершилось темное геомантическое предсказание. Сон Соломонова бессмертия был нарушен. В одно мгновенье распалось тело царя, и осталась только горсть беяых и гладких костей, который словно пытались защитить нежные руки мумии. Но из Суфраха, настигнутого властью «Красной фигуры» в «Доме смерти», красным потоком пролилась вся кровь его жизни, и он погрузился в покой земного бессмертия.

С перстнем царя Соломона на пальце остался он распростертым у алмазного ложа, на тысячи лет сохраненный от тления, в месте глухом и тайном, как возвестила ему фигура «Темницы».

Вновь опустилась железная дверь в порфировом коридоре, и огненные псы стали охранять бессмертного геоманта.



БРАТ ДОЛЬЧИНО

Еретик

Впервые он научился узнавать священные предметы в церкви Орто-Сан-Микеле, где мать поднимала его, чтоб он мог дотронуться ручонками до красивых восковых фигурок, висевших перед Святой Девой.

Дом его родителей прилегал к Баптистерию. Трижды в день — на заре, в полдень и вечером — он видел, как проходили мимо два нищенствующих брата Ордена Святого Франциска с кусками хлеба в корзине.

Часто он провожал их до монастырских ворот. Один из монахов был очень стар: он говорил, что пострижен еще самим святым Франциском. Он обещал мальчику научить его разговаривать с птицей и со всей полевою тварью.

Скоро Дольчино стал проводить все время в монастыре. Он пел вместе с братьями своим свежим голосом. Когда по звону колокола сходились чистить овощи, он помогал их перемывать около большого чана. Повар Роберт ссужал его старым ножом и позволял перетирать полотенцем посуду. Дольчино любил рассматривать висевшую в трапезной светильню с нарисованными наверху двенадцатью Апостола-

ми в деревянных сандалиях и коротких плащах, покрывавших им плечи.

Самой большой его радостью было сопровождать братьев, когда они ходили от двери к двери, прося милостыни, и носить за ними корзину, покрытую холстом.

Однажды днем, когда солнце еще стояло высоко, им отказали в подаянии в низеньких домах на берегу реки.

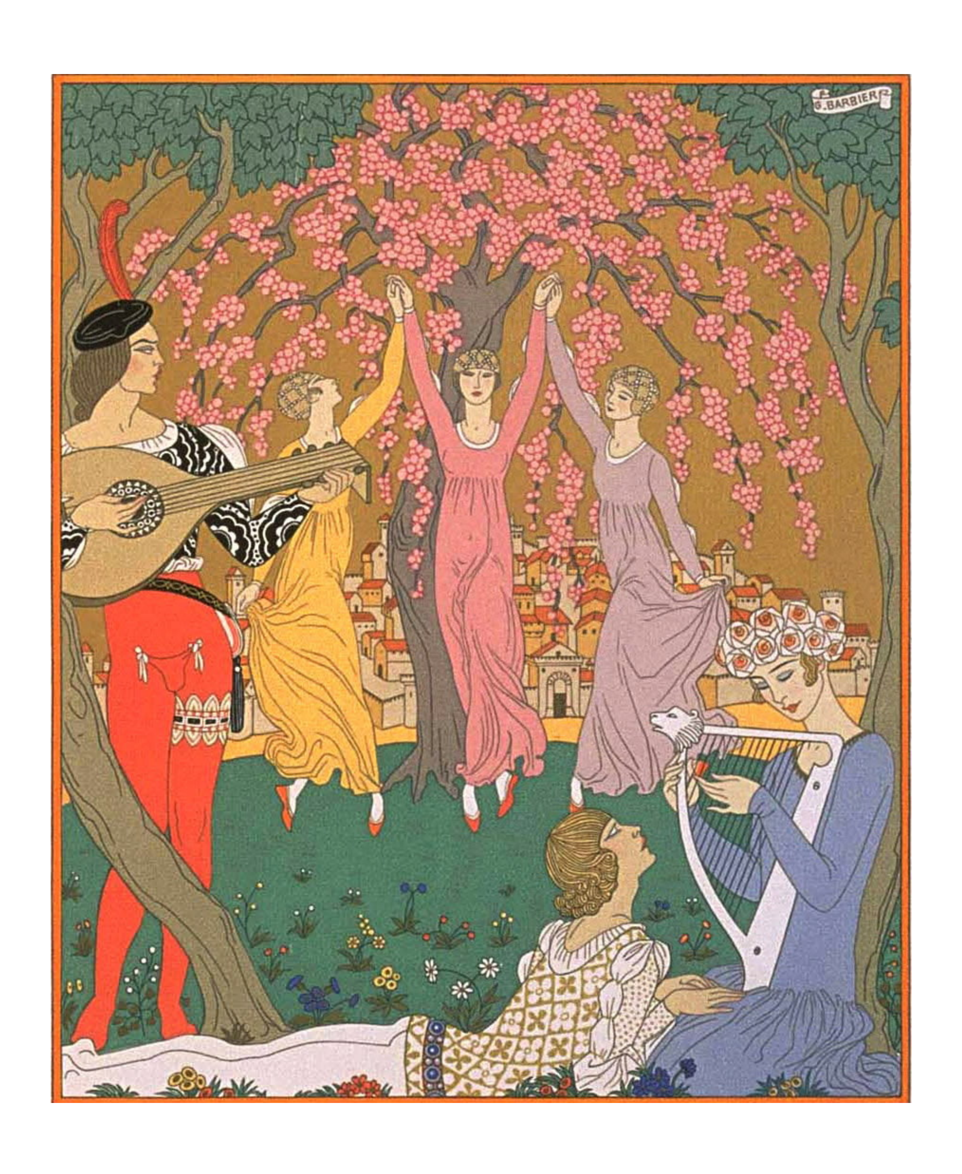
Было очень жарко, и братья почувствовали сильный голод и жажду. Они зашли в один незнакомый им двор, и Дольчино вскрикнул от неожиданности, опуская корзину. Все кругом было увито пышнолистным виноградом и полно сладостной зелени. Среди нее, прыгая, резвились леопарды и другие звери, и тут же сидели девушки и юноши в сияющих тканях, нежно игравшие на виолах и цитрах. Глубок был разлитый здесь покой, и тень густа и благоуханна. В безмолвии все внимало поющим, и было нездешним это пение.

Братья не проронили ни слова, их голод и жажда пропали, и они не осмелились просить ничего. С большим трудом нашли они силу уйти; на берегу реки, обернувшись, они уже не увидели в стене никакого отверстия. Пока Дольчино не открыл корзину, они думали, что все это некромантическое видение. Она была наполнена белыми хлебами, словно Иисус своими собственными руками умножил бывшее там подаяние.

Так открылась Дольчино благодать нищенства. И все же не вступил он в Орден, думая о своем призвании, что оно выше и необычней.

Переходя из монастыря в другой, братья брали его с собою в дорогу: из Болоньи в Модену, из Пармы в Кремону, из Пистойи в Лукку. В Пизе он почувствовал себя озаренным истинною верой.

Когда он спал на стене, окружавшей дворец епископа, его разбудил звук букцины. На площади толпа детей, с вербами и зажженными свечами, окружала дикого с виду человека, трубившего в медный рог. Дольчино казалось, что он видит святого Иоанна Крестителя. У человека была длинная черная борода и темная мешкообразная власяница с


G. BARBIER

широким красным крестом от шеи до пят. Его опоясывала звериная шкура. Он воскликнул ужасающим голосом: «Laudato et benedetto et glorificato sia lo Padre». И дети громко вторили ему. И продолжал: «sia lo Fijo» — и дети подхватили то же. И еще продолжал: «sia lo Spiritu Sancto», — и дети повторяли за ним. Потом он запел с ними вместе: «Alleluia, alleluia, alleluia!» И вострубил он, и начал проповедовать. Его слово было терпким, как горное вино, но оно привлекало Дольчино.

Где бы ни звучала букцина монаха, одетого власяницей, Дольчино приходил, преклоняясь перед ним и завидуя его жизни. То был человек невежественный и неистовый. Он не знал латыни и, налагая епитимью, кричал: «Penitenziagite!»* Он зловеще изрекал предсказания Мерлина, Сибиллы и аббата Иоакима, собранные в «Книге фигур». Он пророчествовал, что Антихрист пришел под видом императора Фридриха Барбароссы и гибель его неизбежна, и скоро семь Орденов восстанут на него, выполняя слово Писания. Дольчино следовал за ним до Пармы, и там, осененный свыше, он понял все.

Благовестник предшествовать Тому, Кто должен был прийти, Основателю первого из семи Орденов. И вот с высокого камня, откуда уже много лет подесты говорили к народу, Дольчино возвестил новую веру. Он говорил, что надо носить плащи из белого холста, подобно Апостолам, изображенным на верхней части светильни в трапезной братьев-миноритов. Он утверждал, что одного крещения мало; чтоб снова вернуть себе детскую белизну, он сделал для себя колыбель, велел обернуть себя пеленками и попросил груди у одной простой женщины, плакавшей от умиления. Подвергая испытанно свое целомудрие, он упросил одну горожанку убедить ее дочь, чтоб та спала с ним рядом, на одной кровати, совершенно голая. Накопив подаянием мешок динариев, он раздал их бедным, ворам и уличным

---

* Здесь и выше испорченные лат-итал. призывы сект апостоликов и дольчиниан (XIII-нач. XIV в.): «Покайтеся», «Превозносите и восхваляйте Отца вашего, и сына, и Дух святой» и т.д.

женщинам, объявляя, что работать больше не надо, а следует жить, подобно зверю в поле.

Повар Роберт, бежавший из монастыря, следовал за ним и кормил его из миски, украденной у нищенствующих братьев.

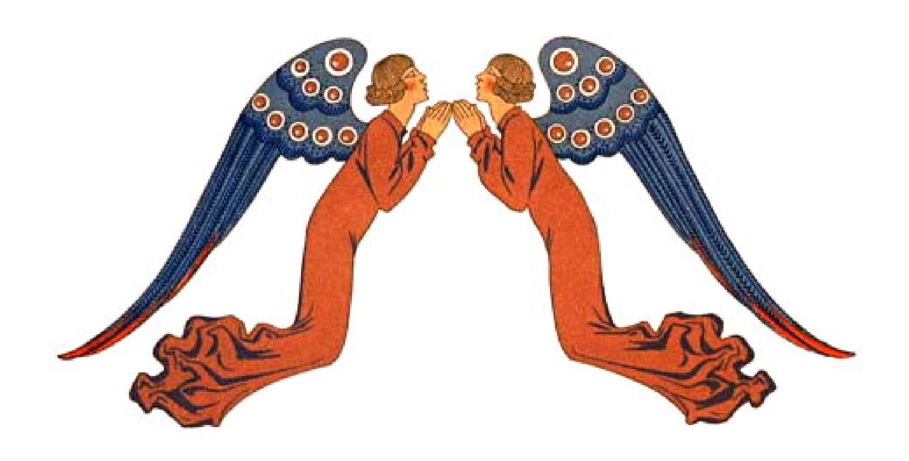
Набожные думали, что вернулось время рыцарей Иисуса и рыцарей св. Марии или тех, которые когда-то, бродячие и неистовые, шли за Джерардино Секарелли. Они благоговейно толпились вокруг Дольчино и бормотали: «Отче! Отче! Отче!» Но братья-минориты добились его изгнания из Пармы.

Одна девушка из благородной семьи, Маргарита, бежала за ним через ворота, ведущие на дорогу к Пьяченце. Он одел ее власяницей со знаком креста и взял с собой. Свинопасы и пастухи глядели на них, когда они шли по полям. Многие бросали свои стада, следуя за ними. Выпущенные из Кремонских тюрем женщины, жестоко обезображенный отрезанными носами, с плачем взывая к ним, шли вослед, с лицами в белых повязках, и Маргарита учила их.

Они основались на лесистой горе близ Новары и начали жить сообща. Дольчино не стал заводить никаких правил и никакого распорядка, уверенный, что таково учение апостолов и все должно стоять на милосердии. Кто хотел, питались плодами с деревьев, другие просили по деревням милостыню, иные воровали скот.

Дольчино и Маргарита жили свободною жизнью под кровом неба. Но жители Новары не хотели понимать их. Крестьяне жаловались на кражи и буйства. Был прислан вооруженный отряд очистить гору, и апостолы были изгнаны из страны.

Дольчино и Маргариту привязали к ослам, лицом к хвосту, и таким образом вели до главной площади Новары. Там они были вместе сожжены на одном костре по приговору суда. Дольчино просил лишь об одной милости: оставить их и в огне одетыми в белые плащи, подобно фигурам Апостолов на монастырской светильне.





ЧЕККО АНДЖОЛЬЕРИ

Поэт-ненавистник

Чекко Анджольери уродился злым. Он увидал свет в Сиенне в тот самый день, что во Флоренции — Данте Алигиери. Отец его, разбогатевший торговец шерстью, склонялся на сторону империи.

С самого детства Чекко завидовал взрослым, ненавидел их и бормотал корыстные молитвы.

В то время многие из знати не желали подчиняться Папе, и все-таки Гибеллины были сломлены.

Но даже и между Гвельфами были Белые и Черные. Белые допускали императорское вмешательство. Черные оставались верными Церкви, Риму и Святому Престолу. Чекко безотчетно примкнул к Черным, быть может, потому, что отец его был Белый.

Его Чекко ненавидел почти с первого вздоха. Пятнадцати лет он потребовал выдела своей части имущества, словно старый Анджольери был уже мертв. Озлобленный отказом, он покинул родительский дом. С тех пор он, не переставая, жаловался и всякому встречному, и Небу. Большою дорогой пришел он во Флоренцию. Там господ-

ствовали Белые, даже после того, как были изгнаны Гибеллины. Чекко кормился подаянием, рассказывал всюду о жестокости отца и кончил тем, что поселился в хижине чеботаря. У того была дочь, которую звали Беккиной, и Чекко решил, что он ее любит.

Чеботарь был человек простой и большой почитатель Святой Девы; он носил ее образки и был уверен, что его набожность дает ему право кроить сапоги из плохой кожи. Перед тем, как идти спать, при свете сальной свечи он беседовал с Чекко о святой науке Теологии и о преимуществах милосердия. Беккина с вечно всклокоченными волосами мыла посуду. Она насмехалась над Чекко за то, что он был криворотый.

Около того времени во Флоренции стали много говорить о необычайной любви Данте Алигиери к дочери Фолько Риковеро де Портинари, Беатриче. Всякий грамотный знал наизусть песни, что он складывал в ее честь. Чекко выслушивал и очень ругал их.

— Вот, Чекко, — сказала Беккина, — ты смеешься над этим Данте, а сам бы не сумел написать мне таких прекрасных посланий.

— Увидим, — сказал Анджольери, скаля зубы.

Прежде всего он сложил сонет, где критиковал размер и смысл песен Данте. Потом он написал стихи для Беккины, но она не умела читать и покатывалась со смеху, слушая декламацию Чекко, не в силах выносить влюбленных гримас его рта.

Чекко был беден и гол, как церковный камень. Он фанатически любил Богоматерь, что передалось ему от его друга, чеботаря. Они оба видались с несколькими захудалыми клириками, жившими на иждивении Черных. Там возлагали большие надежды на Чекко, который казался озаренным свыше, но там не было для него денег.

Несмотря на похвальную ревность к вере, чеботарю пришлось выдать Беккину за толстого соседа Барберино, торговца маслом. «И масло бывает святое», — сказал благочестиво чеботарь в свое оправдание Чекко Анджольери. Свадьба состоялась почти в то же время, что свадьба Беат-

риче с Симоно ди Барди, и Чекко стал подражать Дантовой печали.

Но Беккина не умерла, подобно Беатриче. Девятого июня 1291 года Данте рисовал на деревянной доске. То была годовщина смерти Беатриче. Оказалось, что лицо изображенного им ангела было похоже на лицо его возлюбленной. Одиннадцать дней спустя, 20 июня, Чекко Анджольери — Барберино был занят на масляном рынке —получил от Беккины благосклонное позволение поцеловать ее в губы и сочинил ей пламенный сонет. Но его обычная злость от того не уменьшилась. Кроме любви, он хотел еще золота. У ростовщиков не удалось вытянуть ничего. Он понадеялся достать у отца и отправился в Сиенну. Но старый Анджольери не дал сыну даже стакана кислого вина и оставил его сидеть на улице перед домом.

Чекко успел заметить в зале мешок с только что отчеканенными флоринами. Это был доход с Арчидоссо и Монтеджиови. Он умирал от голода и жажды, платье его было разорвано и рубаха прокоптела насквозь.

Весь в пыли, он вернулся во Флоренцию, и Барберино, увидав его лохмотья, выставил его за дверь своей лавки.

Вечером он вернулся в хижину чеботаря и застал его около чадившей сальной свечи поющим хвалебную песнь Марии.

Они обнялись и умиленно поплакали. По окончании гимна Чекко рассказал чеботарю о своей ужасной и отчаянной ненависти к отцу, грозящему прожить так же долго, как Вечный Жид Батадео. Однн священник, пришедший в это время поговорить о нуждах народа, убедил его в ожидании развязки принять монашеский чин. Он свел Чекко в аббатство, где ему дали келью и старое платье. Приор нарек ему имя: «брат Арриго».

На клнросе, во время ночной службы, он касался рукою плит, голых и холодных, как он. Бешенство сжимало ему горло, когда он думал о богатстве отца, и казалось ему, море скорее высохнет, чем тот умрет. Он чувствовал себя настолько обездоленным, что минутами ему хотелось стать


G. BARBIER

последним из слуг на кухне. «Это вещь, — говорил он, — о которой стоит подумать».

В другое время его охватывала безумная гордыня. «Будь я огнем, — думал он, — я испепелил бы весь свет. Будь я ветром, я пронесся бы над ним ураганом. Будь я водой, я обрушился бы на него потопом. Будь я Богом, я низринул бы его в бездну. Будь я Папой, не было бы мира под солнцем. Будь я Императором, я рубил бы головы без счета. Будь я смертью, я пришел бы за моим отцом... Будь я Чекко... вот вся моя надежда...» Но он был «брат Арриго».

Вскоре он вернулся к своей старой ненависти. Добыв список песен, посвященных Беатриче, он терпеливо сравнивал их со стихами, написанными им Беккине. Один бродячий монах сообщил ему, что Данте отзывался о нем с презрением, и он стал искать случая отмстить. Превосходство сонетов к Беккине казалось ему очевидным. Песни к Биче (Данте в них называет ее обычным уменьшительным именем) — отвлеченны и бледны, его же — полны силы и красок.

Для начала он послал Данте оскорбительное стихотворение. Потом задумал донести на него королю Карлу, графу Прованса. Но никто, в конце концов, не обращал внимания ни на его стихи, ни на его письма, а он оказался бессильным.

Наконец, он устал питать ненависть бездействием, сбросил рясу, надел опять свою рубаху без застежек, изношенный камзол, шляпу, вымытую дождем, и снова стал перебиваться при помощи набожных братьев, работавших в пользу Черных.

Его ожидала большая радость. Данте был изгнан. Во Флоренции оставались одни темные партии. Чеботарь умильно бормотал Деве о скором торжестве Черных. Чекко Анджольери в своем новом увлечении забыл Беккину. Он валялся в канавах, питался черствыми корками, бегал пешком за посланцами церкви в Рим и возвращался во Флоренцию. Увидели, что он может быть полезным. Корсо Донати, свирепый и сильный вождь Черных, вернулся во Флоренцию и скоро дал ему вместе с другими дело.

В ночь на 10 июня 1304 года толпы поваров, красильщиков, кузнецов, священников и нищих наводнили аристократический квартал Флоренции, где были прекрасные дома Белых. Чекко Анджольерн размахивал смоляным факелом, взятым у чеботаря, который следовал на почтительном расстоянии, приветствуя веления Неба. Они поджигали все, и Чекко сам зажег деревянный балкон дома Кавальканти, которые были друзьями Данте. В ту ночь он утолил огнем жажду своей ненависти.

На другой день он послал Данте к Веронскому двору бранное стихотворение «Ломбардец». В тот же день он понастоящему сделался Анджольери, как об этом мечтал несродько лет. Умер его отец, старый, как Илия или Енох.

Чекко бросился в Сиенну и погрузил руки в мешки с новенькими флоринами, в сотый раз повторяя себе, что теперь он не бедный брат Арриго, а благородный владетель Арчидоссо и Монтеджиови, богаче, чем Данте, и лучше, как поэт. Потом ему пришло в голову, что он грешник, ибо желал отцу смерти, и он начал раскаиваться. Тут же он настрочил сонет к Папе, прося в нем о крестовом походе против всех, кто оскорбляет родителей.

В жажде излить свою душу он поспешно вернулся во Флоренцию, обнял чеботаря и просил быть за него ходатаем перед Девой Марией. Потом со всех ног поспешил к торговцу освященным воском и купил грузную свечу. Чеботарь с умилением зажег ее. Оба плакали и молились Мадонне.

До позднего часа слышался смиренный голос чеботаря. Он пел славословия, любовался на свечу и отирал другу слезы.



ПАОЛО УЧЕЛЛО

Художник

В сущности, его звали Паоло ди Доно, но флорентинцы прозвали его «Учелло» или «Птица» по причине множества птичьих чучел и рисунков зверей, наполнявших его дом, ибо был он слишком беден, чтобы держать животных или доставать тех, которых не знал. Однажды, как о нем рассказывают, он работал в Падуе над фреской, изображавшей четыре стихии, и в качестве символа воздуха поместил там хамелеона. Но, никогда его не видав, вместо него он изобразил верблюда с раздутым брюхом и с разинутой пастью. (Хамелеон, — объясняет Вазари — похож на небольшую сухую ящерицу, между тем как верблюд есть крупное, качающееся на ходу животное).

Учелло не заботился о реальности предметов, но лишь об их многочисленности и бесконечном разнообразии линий. Он делал голубые поля, красные города, всадников в черных доспехах, на дышащих пламенем эбеновых конях, с копьями, устремленными, как световые лучи, во все стороны неба.

Была у него привычка постоянно помещать на картинах «Mazocchi», представляющие собой род деревянного обруча, крытого сукном и надеваемого на голову так, что складки откинутой ткани обрамляют лицо. Учелло изображал их то остроугольными, то квадратными, то в виде пирамиды или конуса, глядя по данным перспективы, и находил целый мир сочетаний в складках mazocchio. Скульптор Донателло говаривал ему: «Ах, Паоло, ты упускаешь сущность ради тени!»

Но «Птица» продолжал свою кропотливую работу. Он соединял круги, делил углы, изучал всякое творение во всех его видах и обращался за разъяснением Эвклидовых задач к своему другу, математику Джиованни Манетти. Потом он запирался и покрывал свои пергаменты и деревянные дощечки точками и кривыми.

Он непрестанно работал над изучением архитектуры, в чем помогал ему Филиппо Брунеллески. Но у него не было намерения быть строителем. Он довольствовался тем, что замечал направление линий от фундамента к карнизам, и сцепление прямых в их точках прикосновения, и законы сведения сводов к их верхнему соединительному камню, и веерообразное схождение потолочных балок, которые как будто сливаются в конце длинной залы. Он также изображал всех животных, и их движения, и жесты людей, стараясь свести их к простым линиям. И как алхимик, склонясь над смесями металлов и посредствующих веществ, наблюдает их плавку на своем горне в надежде найти золото, так Учелло сливал все формы в один тигель. Он их соединял, комбинировал и плавил, чтобы добиться их превращения в одну первоначальную, из которой исходят остальные. Вот почему Паоло Учелло жил, затворившись, как алхимик, в своем маленьком доме. Он верил, что ему удастся заменить все линии одним идеальным аспектом. Ему хотелось уловить весь сотворенный мир, каким он отражается во взоре Бога, который видит все фигуры исходящими от одного сложного центра.

В одном с ним городе жили Гильберти, Делла-Робиа, Брунеллески и Донателло; все они, гордые своим мастер-

ством, смеялись над бедным Учелло, над его безумными мыслями о перспективе, и с жалостью глядели на его дом, богатый науками и бедный запасами. Но Учелло был еще более горд. Во всякой новой комбинации линий он надеялся найти способ творения. Его цель была не подражание, а власть раскрывать совершенный облик каждой вещи, и странная коллекция шапочек со складками казалась ему в большей мере откровением, чем прекрасные мраморные лица Донателло.

Так жил «Птица», вечно в плаще с капюшоном на задумчивой голове. Он не замечал, что ел и что пил, и был вполне подобен отшельнику.

Однажды, на лугу, у груды старых камней, потонувших в траве, он увидел смеющуюся девушку с гирляндой на голове.

На ней была длинная изящная одежда, в боках поддерживаемая бледной лентой, и движения ее были гибки, как ветви, которые она сплетала. Ея имя было Сельваджия. Она улыбнулась Учелло. Он отметил склад ее улыбки и, пока она на него смотрела, разглядел тончайшие линии ресниц, и круг зрачков, и изгиб век, и легко подхваченные волосы. Мысленно он располагал на тысячу ладов гирлянду, окаймлявшую ее лоб.

Но Сельваджия не могла понять этого, — ей было всего тринадцать дет. Она взяла Учелло за руку и полюбила его. Она была дочерью одного флорентинского красильщика, а матери уже не было в живых. Другая женщина, занявшая ее место в доме, била Сельваджию. Учелло привел ее к себе.

Целыми днями Сельваджия не отрывалась от стены, на которой Учелло набрасывал свои универсальные формы. Она никогда не могла понять, почему он предпочитает всматриваться в прямые и ломаные линии, а не глядеть на нежное лицо, тянувшееся к нему.

По вечерам, когда Брунеллески или Манетти приходили работать с Учелло, она засыпала после полуночи на полу у стены, в теневом круге под лампой. Утром она просыпалась раньше Учелло и радовалась окружавшим ее пти-

цам и зверям, разрисованным в разные цвета. Учелло рисовал ее губы, ее глаза, ее волосы, ее руки; он постоянно закреплял отдельные положения ее тела, но он не писал ее портрета, как делали другие художники, когда любили женщину. Ибо «Птице» была незнакома радость оставаться в пределах одной личности: он не мог быть в одном краю, стремясь в своем полете парить над всеми краями.

И формы, и положения тела Сельваджии были брошены в общий тигель форм, вместе с движениями животных, с линиями камней и растений, с лучами света, с зыбью земных испарений и морской волны. Забыв о Сельваджии, Учелло казался вечно склоненным над тигелем форм.

А в это время в доме Учелло было нечего есть, и Сельваджия не решалась говорить об этом ни Донателло, ни кому другому. Она умерла, не сказав ни слова. Учелло запечатлел ее окоченевшее тело, ее маленькие худые сложенные руки и очерк жалких закрытых глаз. Он не заметил, что она умерла, как прежде не замечал, что жива. Он только присоединил новые формы к тем, что собрал.

«Птица» состарился, и уже никто не понимал его картин. Это была какая-то путаница кривых. Больше нельзя было различить ни земли, ни растений, ни животных, ни людей.

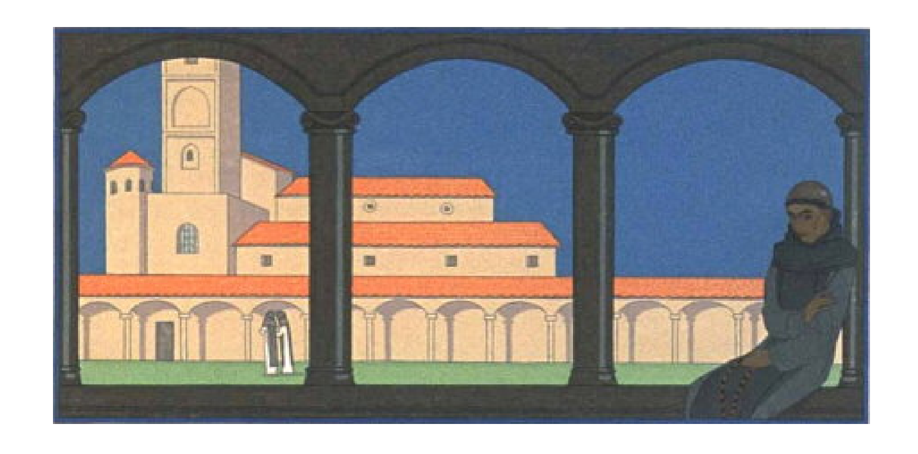
Много лет он работал над своим главным произведением, скрывая его от всех. Оно должно было обнимать все его изыскания и быть их отражением по своему общему замыслу. То был «Фома Неверный, испытующий язвы Христа». Восьмидесяти лет Учелло закончил картину.

Он призвал Донателло и благоговейно открыл ее. И Донателло воскликнул: «Паоло, закрой свою картину!» «Птица» стал расспрашивать великого скульптора, но тот не захотел более сказать ничего. Отсюда Учелло вывел, что он совершил чудо. Но Донателло не видел ничего, кроме хаоса линий.

Несколько лет спустя Паоло Учелло был найден умершим от истощения на своем жестком ложе. Его лицо было излучено морщинами. Глаза вперились в открывшуюся ему тайну.

В крепко сжатых пальцах он держал маленький свиток пергамента, весь покрытый передающимися линиями, идущими от центра к окружности и возвращающимися от окружности к центру.





НИКОЛАЙ ЛОЙЗЕЛЕР

Судья

Он родился в день Успения и особенно чтил Святую Деву. У него выло обыкновение призывать ее во всех обстоятельствах жизни, и он не мог слышать ее имени без того, чтоб глаза его не наполнились слезами.

Покончив ученье на маленьком чердаке на улице св. Якова, под руководством тощего клирика, вместе с тремя детьми, бормотавшими «Donat» и покаянные псалмы, он прилежно изучил логику Окама. Таким образом, он рано стал бакалавром и магистром искусств. Почтенные лица, его обучавшие, заметили в нем большую кротость и привлекательную набожность. С его толстых губ как будто срывались одни молитвы.

Как только он получил степень бакалавра теологии, Церковь обратила на него внимание. Первоначально он служил в диоцезе епископа города Бовэ, который, оценив его качества, пользовался им, чтобы предупреждать англичан, стоявших тогда под Шартром, о различных передвижениях начальников французских отрядов. Когда ему было тридцать пять лет, его сделали каноником в Руанском кафед-

ральном соборе.

Там он сошелся с Жаном Брюйо, каноником и кантором, и они вместе пели прекрасные литании Деве Марии. Иногда он предостерегал Николая Коппекесна, который был нз одного с ним капитула, по поводу прискорбного пристрастия, оказываемого им святой Анастасии.

Николай Коппекесн не уставал восторгаться мудростью этой девушки, которая сумела так отвести глаза римскому префекту, что тот влюбился в чугуны и кастрюли на кухне и сталь их пламенно обнимать, от чего лицо его закоптело и стало похожим на дьявола. Николай Лойзелер доказывал ему, насколько выше могущество Девы Марии, вернувшей жизнь утонувшему монаху. Этот монах был распутен, но никогда не забывал почтить Святую Деву. Однажды ночью, отправляясь на свои блудные дела, он проходил мимо алтаря Марии и не упустил преклонить колена и вознести ей молитву. В ту ночь беспутство довело его до того, что он утонул в реке. Но демоны не могли завладеть им, и, когда на другой день монахи вытащили тело из воды, он открыл глаза и ожил милосердием Девы Марии.

«Ах! — вздыхал каноник, — вот такая набожность есть поистине целительное средство, и столь почтенное и скромное лицо, как вы, Коппекесн, должны бы пожертвовать ради него вашей любовью к Анастасии».

Явные достоинства Николая Лойзелера не были забыты епископом города Бовэ, когда он приступил в Руане к разбору процесса Иоанны Лотарингской. Одевшись в короткое светское платье и прикрыв тонзуру шапочкой, Николай был проведен в маленькую круглую келью под лестницей, где была заключена узница.

«Жаннетта, — сказал он, держась в тени, — мне кажется, сама Святая Екатерина послала меня к вам».

«Во имя Бога, кто вы такой?» — сказала Иоанна.

«Бедный сапожник из Грё, — отвечал Николай, — из нашей — увы! — несчастной страны. “Годоны” взяли меня в плен, как и вас, дочь моя, да прославит вас Небо! Я все знаю хорошо. Я много, много раз видал, как вы приходили молиться Пресвятой Богородице в церковь Святой Ма-

рии Бермонской. С вами вместе я не раз слушал мессы нашего доброго кюре, Гильома Фронта. Увы! А помните ли вы Жана Моро и Жана Барра из Невшателя? Это мои кумовья».

Иоанна заплакала.

«Доверьтесь мне, Жаннетта, — сказал Николай, — меня посвятили в клирики, когда я был еще ребенком. Взгляните, вот тонзура. Исповедайтесь, дитя мое, исповедайтесь совершенно свободно, ибо я преданный сторонник нашего милостивого короля Карла».

«Я охотно исповедаюсь перед вами, друг мой», — сказала несчастная Иоанна.

А в стене было пробито отверстие, и снаружи, на ступенях лестницы, Гильом Маншон и Буа-Гильом от слова до слова записывали исповедь.

Николай Лойзелер говорил: «Жаннетта, не отступайтесь от своих слов и будьте тверды. Англичане не посмеют сделать вам худа».

На другой день Иоанна предстала перед судьями. Николай Лойзелер поместился с нотариусом в одной из оконных ниш, за занавесью, и начал записывать только одни обвинения, пропуская оправдания. Но двое других актуариусов протестовали. Когда Николай появился в зале, он незаметно сделал Иоанне знак не удивляться и с строгим видом присутствовал при допросе.

Девятого мая в большой башне замка он поднял вопрос о том, чтобы без промедления приступить к пытке.

Двенадцатого мая судьи собрались в доме епископа Бовэсского обсудить, полезно ли подвергать Иоанну пытке. Гильом Эрар полагал, что в этом нет надобности, ибо без того имеется достаточно данных. Николай Лойзелер заявил, что для исцеления ее души находит полезным предать ее пытке. Но этот совет не имел успеха.

Двадцать четвертого мая Иоанну повели на кладбище святого Уэна, где заставили взойти на покрытый гипсом эшафот. Около оказался Николай Лойзелер, что-то шептавший ей на ухо, пока Гильом Эрар ее напутствовал. Когда ей пригрозили огнем, она побледнела.

В эту минуту каноник, поддерживая ее, сделал судьям знак глазами и сказал: «Она отречется». Он водил ее рукой, чтобы поставить крест и кружок на предъявленном ей пергаменте. Потом он проводил ее до маленькой низкой двери и ласково погладил ей пальцы.

«Жаннетта моя, — говорил он, — по милости Божией, сегодня для вас хороший день. Вы спасли вашу душу. Иоанна, доверьтесь мне: если захотите, вы будете свободной. Возьмите женское платье и делайте все, что прикажут, иначе вам грозить смерть. Если же будете делать, как я говорю, вас спасут, вы получите много хорошего и ни капли зла, вы будете под покровительством Церкви».

В тот же день, после обеда, он пришел в ее новую тюрьму. Это была комната в замке, средней величины, и туда подымались по восьми ступеням. Николай сел на кровати, возле которой стоял толстый столб с железной, прикованной к нему цепью.

«Жаннетта, — сказал он, — вы видите, какое великое милосердие явили вам сегодня Господь Бог и Дева Мария; они вас приняли под милостивое покровительство нашей Святой Матери-Церкви. Надо покорно выслушивать поучения и приказания судей и духовных лиц. Оставьте ваши прежние бредня и не возвращайтесь к ним больше, иначе вы будете навсегда покинуты Церковью. Вот приличные одежды для скромной женщины. Берегите их, Жаннетта. Остригите скорее ваши волосы, которые, как я вижу, у вас подрезаны в круг».

Четыре дня спустя Николай ночью пробрался в комнату Иоанны и украл рубашку и юбку, которые сам же дал. Когда ему донесли, что она снова оделась в мужское платье, он сказал: «Увы! Она — отступница и глубоко впала во зло».

В архиепископской часовне он повторил слова магистра Жюля де Дюремора: «Мы, судьи, должны только постановить, что Иоанна — еретичка, и передать ее светскому суду, прося с ней действовать мерами кротости».

Перед тем, как ее отвели на мрачное кладбище, он пришел увещевать ее в сопровождении Жана Тумулье.

«Жаннетта, — сказал он ей, — не скрывайте более истины, — теперь вам нужно думать лишь о спасении души. Дитя мое, верьте мне: сегодня, среди всех, должны вы смириться и на коленях принести всенародное покаяние. Пусть оно будет всенародное, Иоанна, смиренное и всенародное, ради уврачевания вашей души».

И Иоанна просила напомнить ей об этом тогда, боясь, что у нее не хватит решимости в присутствии такого множества людей.

Он остался, чтобы увидеть ее сожжение. И здесь видимым образом проявилось его благоговение к Святой Деве. Как только услышал он, как Иоанна взывала к Марии, он заплакал горькими слезами. Так его трогало имя Богоматери. Английские солдаты, думая, что он делает это из жалости, избили его и гнались за ним с поднятыми саблями, и если б не граф Варвик, протянувший над ним руку, они бы убили его.

Он еле успел вскочить на графского коня и спасся бегством.

Много дней он бродил по дорогам Франции, не решаясь вернуться в Нормандию и опасаясь королевских людей. Наконец, он прибыл в Базель.

На деревянном мосту, среди островерхих домов, крытых полосатой черепицей, и крепостных караулен, желтых и голубых, блеск Рейна ударил ему в глаза.

Ему почудилось, он тонет, как блудливый монах, и зеленая вода крутится в глазах.

Имя Марии остановилось у него в горле, он всхлипнул и умер.





КАТЕРИНА-КРУЖЕВНИЦА

Веселая женщина

Она родилась около середины XV века, на улице Паршеминере, близ улицы святого Якова; стояла зима такая холодная, что волки бегали по снегу в Париже. Старая женщина с красным носом, торчавшим из-под чепца, подобрала ее и воспитала. Сперва она играла на паперти с Переттой, Гильометтой, Изабо и Жаннетон; все они носили короткие юбки и своими покрасневшими ручонками лазили в канавы, выдавливая кусочки льда. Они наблюдали также, как заманивают прохожих в игре, называемой «Сен-Мери». Они глазели под навесом на требуху в кадках, на длинные болтающиеся сосиски и на толстые железные крючья, на которых мясники вешают разрубленные на четверть туши.

Близ Сен-Бенуа-Ле-Бетурнэ, где были писцы, они слушали, как скрипят перья, и по вечерам задували свечи под носом у клерков через окна их каморок.

У Малого моста они дразнили селедочников и быстро убегали с площади Мобер, прячась за углом улицы Трех ворот. Потом, усевшись на каменном окладе фонтана, стре-

котали до темной ночи.

Так проходило детство Катерины, пока старая женщина не научила ее сидеть за подушкой для плетения кружев и терпеливо скрещивать нити коклюшек. Потом она стала искусной в своем ремесле. Жаннетон сделалась шляпочницей, Перронетта — прачкой, Изабо — перчаточницей, а Гильометта, самая счастливая, — колбасницей; у ней было румяное лицо, горевшее, словно его натерли свежей свиной кровью.

И те, что играли в «Сен-Мери», тоже взялись за другое, Одни учились на горе святой Женевьевы, другие резались в карты в Тру-Перетт, третьи чокались кружками онисского вина в трактире «Сосновое яблоко», иные ссорились в гостинице «Толстой Марго», и в полдень их можно было встретить входящими в таверну на Бобовой улице, а в полночь выходящими из дверей на Жидовской.

Катерина плела кружева, а в летние сумерки отправлялась подышать вечерней свежестью на скамейке у церкви, где можно было посмеяться и поболтать.

Катерина носила суровую кофточку и зеленую юбку. Она сходила с ума по нарядам и больше всего ненавидела шапочку, отличавшую девушек не из благородных фамилий. Она любила также тестоны*, экю серебряные, но всего больше золотые.

Это заставило ее сойтись с Казеном Шолэ, тюремным смотрителем из Шатлэ. Впрочем, от своей должности он получал мало монет. Часто она ужинала с ним вместе в трактире «Лошака» против церкви отцов-матуринов, а после ужина Казен Шолэ отправлялся ловить куриц по парижским рвам. Он проносил их под своим большим плащом и выгодно сбывал Машекру, вдове Арнуля, красивой торговке птицей у ворот Малого Шатлэ.

Скоро Катерина бросила ремесло кружевницы: старая женщина с красным носом уже гнила на кладбище Невинных.

---

* Тестон — серебряная старинная монета в 10 су (*Прим. пер.*).

Казен Шолэ подыскал для подруги низенькую комнатку около Трех Дев и навещал ее по вечерам. Он не мешал ей показываться у окна с подведенными углем глазами и щеками, намазанными свинцовыми белилами.

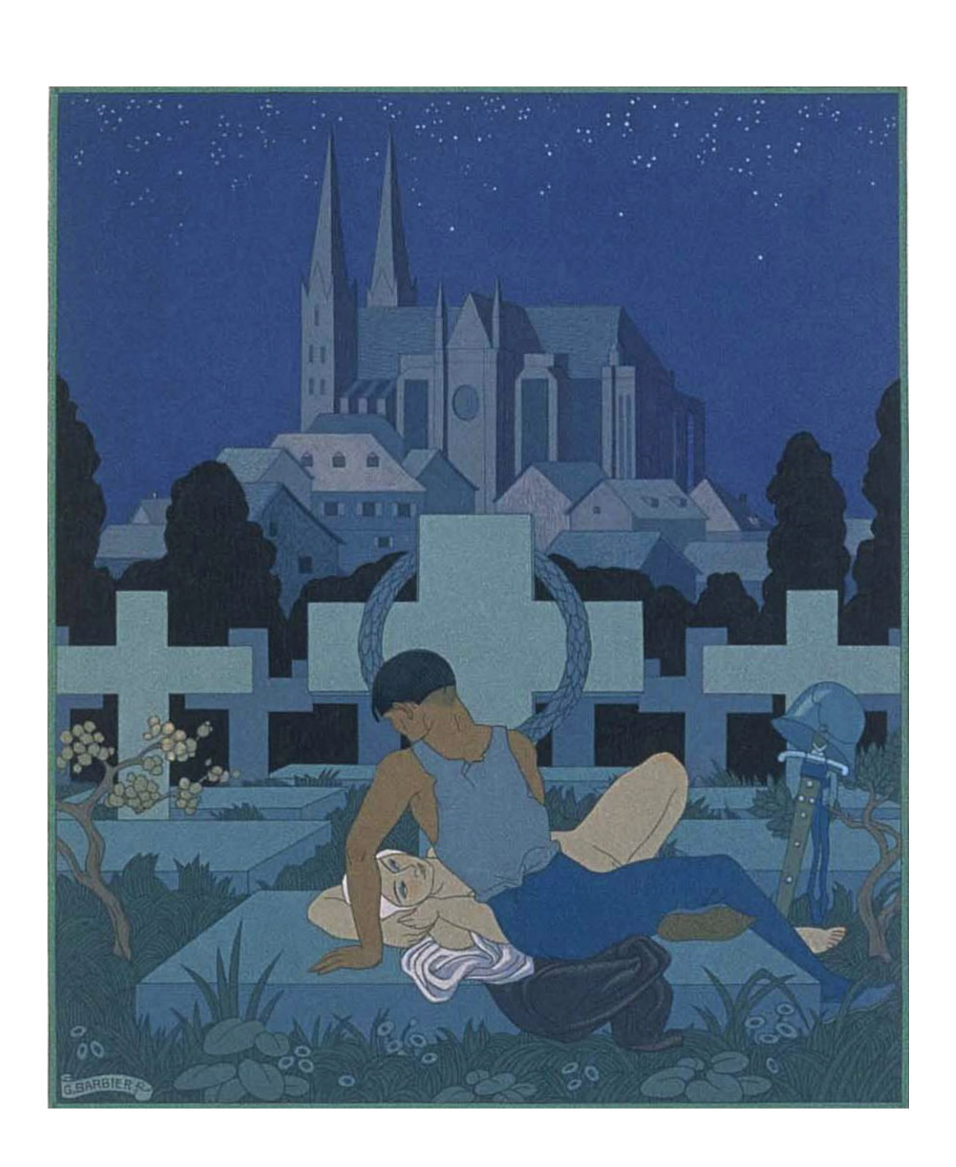
Все горшки, чашки и фруктовые тарелки, на которых Катерина подавала есть и пить всякому, кто хорошо платил, были украдены в «Лебеде» или в гостинице «Оловянное блюдо». В один прекрасный день Казен Шолэ исчез, заложив у Трех прачек платье и пояс Катерины. Его приятели рассказали кружевнице, что его по приказанию прево секли, разложив на тележном кузове, и выгнали из Парижа через Бодуайерские ворота. Они больше не видались. Оставшись одна и не имея охоты зарабатывать деньги трудом, она сделалась уличной женщиной, живущей где придется.

Сперва она поджидала у дверей трактиров, и ее знакомые уводили ее за стены около Шатлэ или против Новарской коллегии. Когда начались холода, одна сострадательная старуха пристроила ее в бани, где хозяйка дала ей пристанище. Она стала жить в каменной комнате, устланной зеленым камышом. За ней осталось прозвище «Катернна-кружевница», хотя она больше не плела кружев. Иногда ей давали свободу пройтись по улицам с тем, чтобы она вернулась к тому часу, когда народ обыкновенно идет в баню.

Катерина бродила перед лавками перчаточницы и шляпочницы и много раз подолгу с завистью смотрела на цветущее лицо колбасницы, смеявшейся среди свиных туш. Потом она возвращалась в бани, которые хозяйка освещала в сумерки сальными свечами; они горели красноватым светом и грузно таяли за закоптелыми стеклами.

Наконец, Катерине надоело жить взаперти в четырех стенах. Она сбежала на большие дороги.

С тех пор она не была больше ни парижанкой, ни кружевницей; она стала одной из тех, что бродят в окрестностях французских городов, сидят на могильных камнях и доставляют удовольствие прохожим. У этих женщин нет другого имени, кроме того, что дается им, глядя по внешности, и Катерина получила прозвище «Морда». Блуждая


G. BARBIER

по полям, она караулила вечерами на закраинах дорог, и ее набеленное лицо мелькало вдоль плетней между тутовыми деревьями. «Морда» привыкла терпеть по ночам страх среди мертвых, когда ноги дрожат, задевая могилы.

Не было у ней ни тестонов, ни серебряных, ни золотых экю. Она жила в бедности, хлебом, сыром и кружкой воды. И любовники ее были такие же жалкие; они издали зазывали ее: «Морда, Морда!» и она любила их.

Больше всего тосковала она, слушая колокола церквей и часовен: «Морде» вспоминались июньские ночи, когда она сидела на скамейке церковного портика. В то время она завидовала нарядам благородных девиц; теперь для нее не существовало ни простой шапочки, ни дворянской шляпы. С непокрытой головой она дожидалась заработка, опершись на жесткую плиту. Ночью, на кладбище, среди жирной грязи, куда уходили ноги, она грустила о красноватом свете сальных свеч в банях и о зеленом камыше в ее квадратной комнате.

Однажды ночью какой-то гуляка, выдававший себя за военного, перерезал «Морде» горло, чтобы взять ее пояс.

Но там он не нашел кошелька.





АЛЕН МИЛЫЙ

Солдат

С двенадцати лет он служил у короля Карла VII в стрелках, быв похищен военными людьми в равнинной стране Нормандии. Вот как случилось это похищение. Когда жгли житницы, сдирали у крестьян кожу с ног походными ножами и валили девушек на кровати из рваных конских попон, маленький Ален забился в старую винную бочку с выбитым дном у входа в давильню. Солдаты опрокинули бочку и нашли мальчугана. Его забрали, как он был, в рубашке и в коротком зипунчике. Капитан велел дать ему кожаную куртку и старую шапку, уцелевшую чуть не от битвы при Сен-Жаке. Перин Годен его выучил стрелять из лука и метко попадать в белый круг на мишени.

Он переходил из Бордо в Ангулем, из Пуату в Бурж; он видел Сен-Пурсен, где находился король, был в пределах Лотарингии, доходил до Туля, потом воротился в Пикардию, вступил во Фландрию, миновал Сен-Кентен, повернул в Нормандию и, таким образом, к двадцати трем годам обошел со своим отрядом всю Францию; он познакомился с англичанином Джоном по прозвищу «Толстая курица»,

который приучал его клясться «Годдем»*, с Шикерелло из Ломбардии, от которого узнал, как лечить Антонов огонь, и с молодою Идрой из Лана, научившей его расстегиваться, где нужно.

В Понто-де-Мер его товарищ Бернар Англад убедил его бросить королевскую службу, уверив, что они оба проживут превосходно, надувая простаков поддельными костями, так называемыми «гурдами». Они так и сделали, не снимая, однако, формы.

Игра в карты шла на опушке леса, у стен кладбища, на украденном барабане. Один негодный консисторский служитель, Петр Ампоньяр, заставил показать ему все тонкости игры, а после сказал, что им не миновать ареста; тогда им следует упорно клясться, что они клирики, чтоб избежать людей короля и добиться над собой церковного суда; для этого нужно заранее остричь себе наголо темя и быстро сбросить в случае надобности вырезные воротники и цветные нарукавники. Он сам простриг им тонзуру освященными ножницами и заставил пробормотать семь Псалмов и стих «Dominus pars»**. Потом они разошлись, каждый в свою сторону: Бернар с Бьетрикс, органисткой, а Ален с Лоренеттой, продавщицей свеч.

Лоренетте хотелось платья из зеленого сукна; Ален наметил таверну «Белого коня» в Лизье, где он выпил кружку вина. Ночью, вернувшись в сад, он пробил в стене своим дротом отверстие и проник в залу, где нашел семь оловянных чаш, красную шапочку и золотое кольцо. Жакэ Большой, лоскутник из Лизье, охотно обменял их на платье, какого желала Лоренетта.

В Байё Лоренетта жила в маленьком крашеном домике, где, как говорили, были женские бани, но хозяйка этих бань только расхохоталась, когда Ален хотел взять ее назад. Она проводила его до дверей со свечою в одной руке и здоровым камнем в другой, спрашивая, не хочет ли он, чтобы она натерла ему рыло и сделала из него вафлю. Оп-

---

* От англ. God damn – «проклятие».

** «Господь есть часть…» (лат.). Пс. 15/16:5.

рокинув свечу, Ален убежал, сорвав с пальца у этой почтенной женщины кольцо, показавшееся ему ценным. Но оно было из золоченой меди, с большим поддельным розовым камнем.

После Ален стал бродяжничать и встретил в Мобюссоне, в гостинице «Попугая», Карандаса, своего товарища по оружию, евшего рубцы вместе с другим человеком, которого звали Жаном Малым. Карандас имел при себе копье, а у Жана Малого был на поясе затянутый шнуром кошель. Пряжка на поясе была тонкого серебра.

После выпивки они сговорились идти лесом в Сенлис. В сумерки пустились в путь. Когда они уже были в глубине леса, среди темноты, Ален начал замедлять шаг.

Жан Малый оказался впереди. Во мраке Ален со всего маху всадил ему дрот между лопаток, а Карандас в то же время хватил его по голове копьем. Тот упал ничком, Ален насел сверху и полоснул ему ножом по горлу; потом они забили рану сухими листьями, чтобы на дороге не было кровавой лужи. Над поляной показалась луна. Ален отрезал пряжку у пояса и развязал шнуры кошеля, где оказалось шестнадцать золотых лионов и тридцать шесть патаров. Лионы он взял себе, а кошель с мелочью кинул за труд Карандасу, держа дрот наготове. Тут же на поляне они расстались. Карандас поклялся Пречистой Кровью, что этого ему не забудет.

Ален не решился идти в Сенлис и вернулся кружным путем к городу Руану.

Наутро после этой ночи, когда он проснулся под цветущей изгородью, он увидел себя окруженным конными людьми, которые связали ему руки и повели в тюрьму. Возле калитки, проскользнув за крупом лошади, он пустился бежать в церковь святого Патрикия и там притаился за престолом. Стража не смела пройти через паперть.

Оказавшись в безопасности, Ален свободно бродил по церкви и хорам и разглядывал прекрасные чаши из благородных металлов и сосуды, очень удобные для переплавки.

На следующую ночь у него уже было два товарища, Денизо и Мариньон, воры, как и он. Мариньон был с отрезанным ухом. Им было нечего есть, и они завидовали шнырявшим по церкви мышам, которые гнездились под плитами и жирели, отъедаясь крошками священного хлеба. На третью ночь голод принудил их выйти, и служители правосудия их схватили. Ален стал кричать, что он клирик, но забыл сорвать зеленые нарукавники.

В тюрьме он тотчас попросился сходить на двор, распорол там свою куртку и бросил нарукавники в нечистоты, но тюремщики предупредили прево. Явился цирюльник и обрил Алену всю голову, чтоб уничтожить тонзуру.

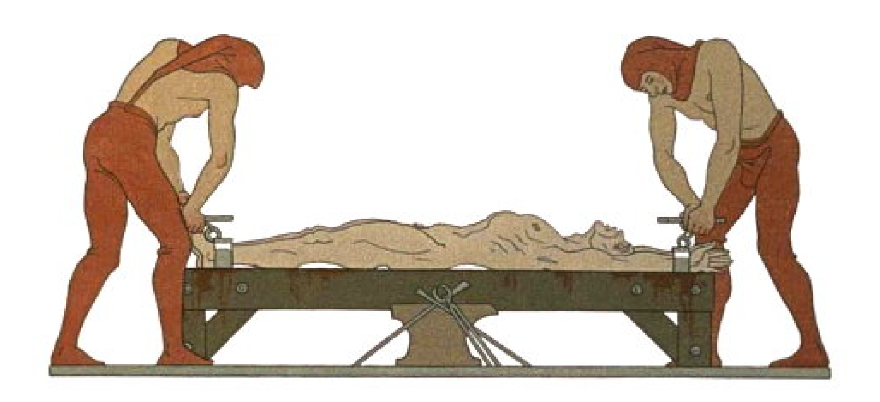
Судьи смеялись над кухонной латынью его псалмов. Он не мог прочесть до конца «Отче наш» и тщетно божился, что епископ посвятил его в первую степень ударом по щеке, когда ему было десять лет.

Его подвергли допросу, как всякого мирянина, сперва на малой кобыле, потом на большой.

На огне пыточной кухни, с вывернутыми веревкой членами и с переломленной шеей, он сознался в своих преступлениях.

Наместник прево туг же объявил приговор. Алена привязали к повозке, приволокли к виселице и повесили. Солнце палило его труп.

Палачу досталась его куртка, отпоротые нарукавники и хорошая шапка тонкого сукна, подбитая мехом, украденная Аленом в гостинице.





ГАБРИЭЛЬ СПЕНСЕР

Актер

Его мать была веселая женщина, по имени Флум, содержательница низкого маленького зала в глубине Роттен-Рова, в Пиккед-Хетче. К ней приходили после ужина капитан с медными перстнями на пальцах и двое франтов в просторных камзолах. У ней жили три девицы, по имени: Поль, Доль и Моль, которые не выносили запаха табака. Потому они нередко уходили наверх полежать, и вежливые кавалеры сопровождали их, заставив предварительно выпить по стакану теплого испанского вина, чтоб отбить запах трубок.

Маленький Габриэль сидел, согнувшись, под навесом камина, следя за тем, как пекутся яблоки, которые потом клали в горшок с пивом.

Приходили также актеры самой разнообразной внешности, не смевшие являться в большие таверны, куда шли состоятельные компании. Одни хвастались, другие с глупым видом цедили слова. Они ласкали Габриэля и научили его стихотворным отрывкам из трагедий и грубым сценическим шуткам. Ему подарили кусок темно-красного

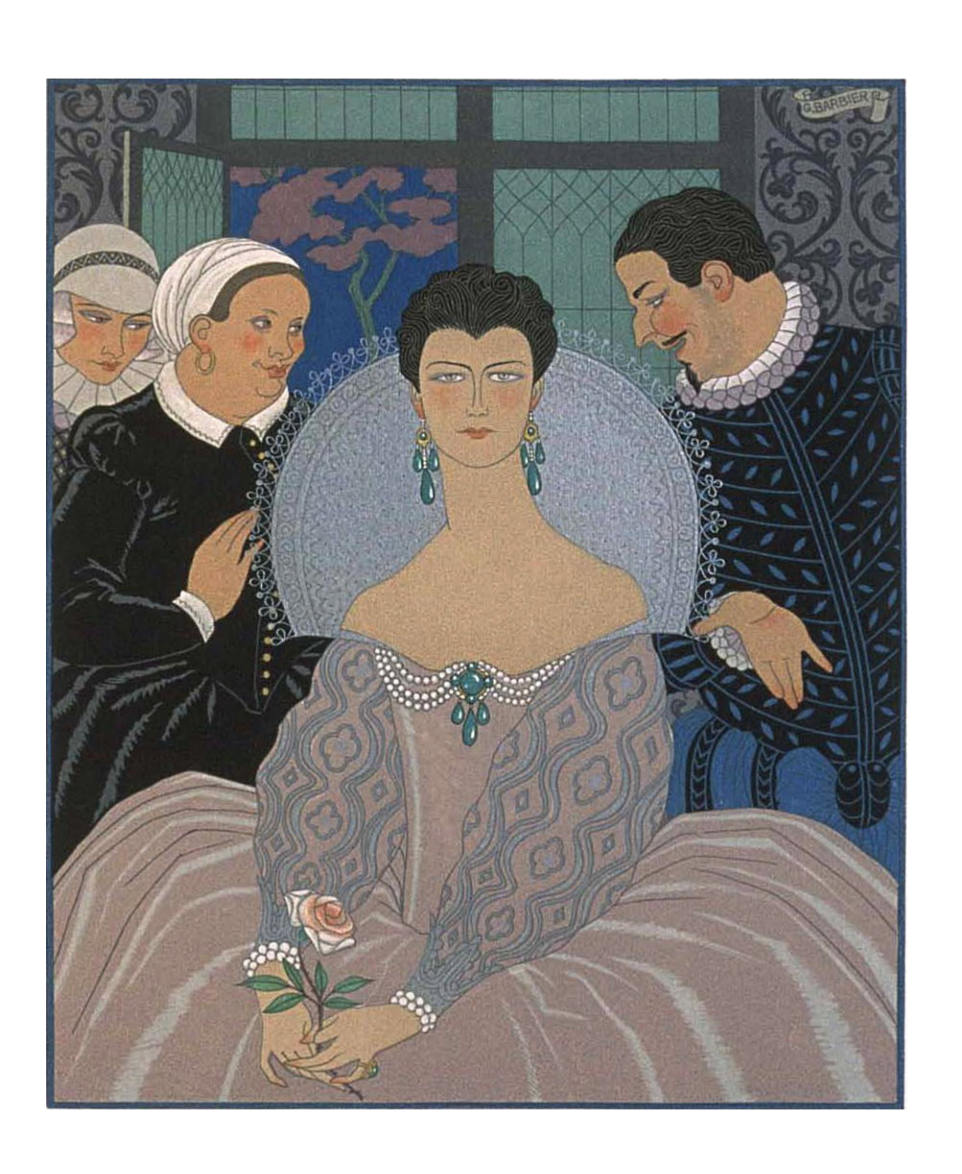
сукна с потертой золотой бахромой, бархатную маску и старый деревянный кинжал. В таком виде он важно выступал один перед очагом, размахивая головней вместо факела, а мать его, Флум, трясла своим тройным подбородком от восхищения перед скороспелым талантом сына.

Актеры водили его с собой в «Зеленый занавес» в Схоредиче. 'Гам он дрожал перед приступами ярости маленького комедианта, с пеной у рта рычавшего роль Иеронимо. Можно было там видеть старого короля Лира с обтрепанной белой бородой, преклонявшего колени просить прощения у дочери, Корделии. Один клоун подражал безумию Тарлетона, другой, завернувшись в простыню, ужасал принца Гамлета. Сир Джон Ольдкестль смешил всех своим огромным животом, особливо когда обнимал за талию трактирщицу, не мешавшую ему мять ей ленты чепца и запускать свои толстые пальцы в холщовый мешок, привязанный у ее пояса. Сумасшедший пел дураку песни, которых тот никогда не мог понять, и клоун в бумажном колпаке, то и дело гримасничая, просовывал голову сквозь драный занавес в глубине эстрады. Был там жонглер с обезьянами и еще мужчина, одетый женщиной, по мнению Габриэля, похожий на его мать, Флум. В заключение зрелища являлись сторожа с розгами и надевали на него темно-синее платье, крича, что сведут его в Бридвелль.

Когда Габриэлю минуло пятнадцать лет, актеры «Зеленого занавеса» заметили, что он красив и нежен и может играть роли женщин и девушек. Флум причесывала ему черные волосы, откинутые назад; у него была тонкая кожа, большие глаза, высоко очерченные брови, и Флум проколола ему уши, повесив туда две двойных фальшивых жемчужины.

Он получил роль одного из компании герцога Ноттингама; ему понаделали платьев из тафты, из дамаска с блестками, из серебряной и золотой парчи, корсажей с шнуровками и пеньковых париков с длинными буклями. Его научили гримироваться в зале для репетиций.

Сперва он краснел, подымаясь на подмостки. Потом жеманился, отвечая на любезности. Поль, Доль и Моль, ко-


G. BARBIER

торых привела Флум, очень пораженные, с громким смехом объявили, что это точь-в-точь женщина, и хотели расшнуровать его после представления. Они пришли с ним в Пиккед-Хетч, и мать заставила его надеть одно из ее платьев и показаться капитану. Тот наговорил тысячу шутливых поощрений и даже сделал вид, что хочет надеть ему на палец дрянное позолоченное кольцо со вставленным туда стеклянным карбункулом.

Лучшими приятелями Габриэля Спенсера были Вильям Бирд, Эдвард Жуб и двое Жеффсов.

Летом они задумали ехать играть вместе с странствующими актерами по сельским местечкам. Путешествовали в повозках с натянутым верхом, в которых и спали ночью.

Однажды вечером, по Гаммерсмитской дороге, они увидели вылезающего из канавы человека, который наставил на них дуло пистолета.

— Ваши деньги! — сказал он. — Я Гамалиэль Ратзей, Божией милостью вор с большой дороги, и не люблю ждать.

На это двое Жеффсов отвечали со стенаниями:

— У нас нет денег, ваша милость, кроме вот этих медных блях да кусков крашеного камлота. Мы — бедные бродячие актеры, как и вы, ваша светлость.

— Актеры? — воскликнул Гамалиэль Ратзей. — Вот это превосходно. Я не какой-нибудь мелкий воришка иди мошенник, я — друг зрелищ. Не будь у меня некоторого уважения к старому Деррику, который сумеет втащить меня по лестнице и заставить помотать головой, я бы ни за что не расстался с берегом реки и с веселыми тавернами, где вы, джентльмены, имеете привычку показывать столько остроумия. Добро пожаловать! Вечер отличный. Поставьте ваши подмостки и сыграйте мне ваше лучшее представление. Вас будет слушать Гамалиэль Ратзей. Это чего-нибудь стоит. После вы можете об этом рассказывать.

— Но вам придется потратиться на освещение, — робко сказали Жеффсы.

— Освещение? — с видом благородства сказал Гамалиэль. — Что вы говорите об освещении? Я, Гамалиэль, здесь король, как Елизавета — королева в столице, и я буду

поступать по-королевски. Вот сорок шиллингов.

Актеры, дрожа, вылезли из повозки.

— Мы к услугам вашего величества, — сказал Бирд,— что нам играть?

Подумав, Гамалиэль взглянул на Габриэля и сказал:

— Боже мой, хорошую пьесу вот для этой девицы, только непременно грустную. Она, должно быть, восхитительная Офелия. Здесь, неподалеку, есть цветы наперстника, настоящие мертвые пальцы. «Гамлета», вот чего я хочу. Мне нравятся характеры этой повести. Не будь я Гамалиэлем, я бы охотно играл Гамлета. Смотрите, не ошибайтесь в ударах шпаг, мои прекрасные троянцы, мои доблестные коринфяне.

Зажгли фонари. Гамалиэль внимательно смотрел драму.

По окончании он сказать Габриэлю Спенсеру:

— Прекрасная Офелия! Не буду задерживать вас комплиментами. Вы можете ехать, актеры короля Гамалиэля. Его велнчество доволен.

Потом он исчез в темноте.

На заре, когда повозка пустилась в путь, увидели, что он опять заступает дорогу с пистолетом в руке.

— Гамалиэль Ратзей, вор с большой дороги, — сказал он, — является за сорока шиллингами короля Гамалиэля. Ну, живей! Спасибо за представление. В самом деле, мне очень нравятся причуды Гамлета. Прекрасная Офелия, свидетельствую вам мое почтение.

Двое Жеффсов, у которых хранились деньги, волей-неволей их отдали. Гамалиэль поклонился и быстро исчез.

После этого приключения труппа вернулась в Лондон. Стали ходить рассказы, что один вор чуть было не похитил Офелию в платье и в парике. Одна девица, которую звали Пат Кинг, часто посещавшая «Зеленый занавес», уверяла, что это ее нисколько не удивляет. У нее было упитанное лицо и полный стан. Флум пригласила ее познакомиться с Габриэлем. Она нашла его очень милым и нежно обняла. Потом она стала заходить часто.

Пат была подругой одного кирпичника, которому надоело его ремесло и хотелось играть в. «Зеленом занавесе». Его звали Бен Джонсон, и он очень гордился своим образованием, был из духовного звания и имел некоторые познания в латыни. Это был широкоплечий человек огромного роста, весь покрытый золотухой, с правым глазом выше левого. У него был громкий сердитый голос. Когда-то этот колосс был солдатом в Нидерландах.

Он проследил Пат Кинг, схватил Габриэля за шиворот и приволок на Окстонское поле, где бедному Габриэлю пришлось с ним стать лицом к лицу со шпагой в руке. Флум незаметно успела дать ему клинок на десять дюймов длиннее. Он вошел в руку Бена Джонсона. У Габриэля было проколото легкое. Он умер на траве. Флум побежала за констеблями.

Бена Джонсона, клявшего все на свете, снесли в Ньюгет.

Флум надеялась, что его повесят. Но он прочитал полатыни псалмы, уверил, что он духовный, и ему только заклеймили руку раскаленным железом.





ПОКАХОНТАС

Принцесса

Покахонтас была дочь короля Повхатана, который восседал на трое, имевшем подобие ложа, в одежде из медвежьих шкур с висящими хвостами,

Она выросла в доме, обтянутом циновками, среди жрецов и женщин с выкрашенными ярко-красным головой и плечами, забавлявших ее игрушками из меди и гремушками из змеиной кожи. Намоктак, верный служитель, ходил за принцессой и руководил ее играми.

Иногда ее водили в лес при большой реке Раппаханок, и тридцать обнаженных девушек плясали для ее развлечения. Они были раскрашены в разные цвета и опоясаны зелеными листьями; их головы украшали козлиные рога, а у пояса были шкуры выдр. Потрясая палицами, они прыгали вокруг трещавшего огня. Покончив пляску, они разбрасывали костры и отводили принцессу при свете головней.

В 1607 году страна Покахонтас была потревожена европейцами. Промотавшиеся дворяне, мошенники, искатели золота пристали к берегам реки Потдаак и настроили там

досчатых бараков. Эти бараки они назвали: «Джемстоун», а свою колонию «Виргинией». В эти годы вся Виргиния состояла из маленького бедного форта, построенного в устье Шезапаки, во владениях великого короля Повхатана. Колонисты выбрали президентом капитана Джона Смита, который во время своих прежних скитаний побывал в самой Турции.

Они бродили по скалам, питаясь морскими раковинами и тем малым количеством зерна, что им удавалось добывать меною у туземцев.

Сначала их приняли с большой торжественностью. Жрец играл перед ними на тростниковой флейте, с короной из шерсти лани на заплетенных волосах, окрашенной красным и раскрытой подобно розе. Тело его было выкрашено темно-красным, лицо — голубым, и он весь был покрыт подвесками из серебряных самородков. Потом он сел на циновку с бесстрастным видом и закурил трубку с табаком. Другие, окрашенные черным, белым и красным, а иные в полутона, построившись в четырехугольные колонны, пели и плясали перед идолом Оки, сделанным из змеиной кожи, набитой мхом и украшенной медными цепями.

Однако, несколько дней спустя, капитан Смит, исследуя в челноке течение реки, был внезапно схвачен и связан. Со страшными воплями его отвели в длинный дом, где его сторожили сорок дикарей. Жрецы, с глазами, подрисованными красным, и черными лицами, испещренными белыми полосами, дважды обвели очаг сторожевого дома дорожкой из муки и хлебных зерен. Потом Джон Смит был отведен в хижину короля.

Повхатан был в меховом платье, и волосы стоявших вокруг него были украшены птичьим пухом. Одна из женщин подала капитану воды вымыть руки, а другая отерла их пучком перьев. Между, тем двое краснокожих гигантов положили у ног Покхатана два плоских камня.

Король поднял руку. Это значило, что Джона Смита положат на эти камни и раздробят ему голову ударом палицы.

Покахонтас было только двенадцать лет, и она робко выглядывала из-за раскрашенных советников. Она вскрикнула, бросилась к капитану и прижалась головой к его щеке. Джону Смиту было двадцать девять лет. У него были прямые усы, борода веером и орлиный взгляд. Ему сказали, что имя королевской дочери, спасшей ему жизнь, Покахонтас. Но это не было ее настоящее имя.

Король Повхатан заключил мир с Джоном Смитом и отпустил его на свободу.

Через год капитан Смит со своим отрядом стоял лагерем в лесу у реки. Была темная ночь. Всякий шум заглушался пронизывающим дождем. Вдруг до плеча капитана дотронулась Покахонтас. Она проникла одна через страшную лесную темь. Она прошептала, что отец хочет напасть на англичан и перебить их, когда они будут за ужином. Она умоляла его бежать, если он дорожит жизнью. Капитан Смит предлагал ей лент и стеклянных бус, но она, плача, отвечала, что не смеет. Потом, одна, убежала в лес.

В следующем году у колонистов возникло недовольство капитаном Смитом, и в 1609 году он отплыл в Англию. Там он написал несколько книг о Виргинии, где рисовал положение колонистов и рассказывал о своих приключениях.

Около 1612 года некий капитан Аргаль, отправившись завязать торговлю с Потомаками, которые и были народом короля Повхатана, случайно похитил принцессу Покахонтас и заключил ее на своем судне, как заложницу. Король, ее отец, был очень разгневан, но ее не возвратили.

Так она томилась в плену до того дня, пока один красивый дворянин, Джон Рольф, не полюбил ее и не женился на ней. Они повенчались в апреле 1613 года. Говорят, Покахонтас открыла свою любовь одному из ее братьев, приходившему ее навестить.

В июне 1616 года она прибыла в Англию, где множество людей из знатного круга стремились ее увидеть. Добрая королева Анна приняла ее ласково и велела выгравировать ее портрет.

Капитан Джон Смит, собиравшийся обратно в Виргнию, пришел к ней перед отплытием. Он с ней не видался



с 1608 года. Ей было теперь двадцать два года. Когда он вошел, она отвернулась и закрыла лицо, не отвечая ни мужу, ни друзьям, и так оставалась одна два или три часа. Потом она позвала капитана.

Подняв на него глаза, она сказала: «Вы обещали Повхатану, что все ваше будет и его, и он поступит так же. Будучи чужеземцем на его родине, вы называли его отцом. Будучи чужеземкой на вашей родине, я буду звать вас так же».

Капитан Смит стал ссылаться на этикета, ибо она была дочерью короля. Она возразила: «Вы не побоялись прийти в страну моего отца и навели страх на него и на всех его людей, кроме меня. Неужели вы побоитесь, чтобы здесь я называла вас: мой отец? Я буду говорить вам: мой отец, и вы мне: мое дитя, и у нас будет всегда общая родина. Они мне сказали там, что вы умерли».

Она шепотом призналась Джону Смиту, что ее имя — Матоака. Индейцы, боясь, чтоб ею не завладели колдовством, сообщили иностранцам ложное имя Покахонтас.

Джон Смит уехал в Виргинию и больше не видел Матоаку. Она занемогла в Грэвзенде в начале следующего года, стада бледнеть и наконец умерла. Ей еще не было двадцати трех лет.

Портрет ее окружает следующая надпись: «Matoaca alias Rebecca, filia potentissimi principis Powhatani Imperatoris Virginiae»*. На Матоаке высокая пуховая шляпа с двумя нитями жемчуга, большой воротник из плотных кружев, в руках веер из перьев. У нее — худое лицо, выступающие скулы и большие кроткие глаза.

---

* «Матоака, иначе Ребекка, дочь могущественного властителя Повхатана, императ ора Виргини» (*лат.*).





СИРИЛЬ ТУРНЕР

Трагический поэт

Сириль Турнер родился от связи неизвестного бога с проституткой. Доказательство его божественного происхождения видят в том героическом безверии, под тяжестью которого он погиб. Мать передала ему инстинкт чувственности и бунта, страх смерти, дрожь сладострастия и ненависть к королям. От отца унаследовал он любовь к славе, гордую властность и радость созидания. Оба вместе дали ему любовь к ночи, красному свету и крови.

Какого числа он родился, неизвестно. Он появился на свет в черный день, в год Чумы. Никакой небесный промысл не бодрствовал над уличной женщиной, беременной от божества; тело ее покрылось чумными пятнами за несколько дней до родов, и дверь ее маленького домика была отмечена красным крестом. Сириль Турнер увидел свет под звон колокола собирателя трупов, и как отец его исчез в небе, общем для богов так его мать в зеленой телеге стащили в яму, общую для людей.

Сообщают, был сумрак такой глубокий, что могильщик должен был освещать смоляным факелом вход в зачумлен-

ный дом.

Составитель другой хроники уверяет, что по туману на Темзе, омывавшей подножие дома, пошли багровые полосы и из глотки призывного колокола вырвался как бы голос кинокефала. Наконец, утверждают определенно, пылающая и яростная звезда появилась над треугольной крышей из закопченных досок, покоробившихся и плохо скрещенных, и новорожденный младенец показал ей кулак из окна, в то время как она качала над ним свои бесформенные огненные космы. Так вступил Сириль Турнер в обширное лоно Киммерийской ночи.

Невозможно установить, что он думал и делал до тридцати лет, каковы были знаки его тайной божественности и как он убедился в своем царственном призвании.

Темная устрашающая запись содержит перечень его богохульств. Он заявляет, что Моисей только жонглер и так называемый Гериот — более ловок, чем он. Первоисточник религии — держать людей в страхе. Христос больше заслуживал смерти, чем Варавва, хотя тот был вор и убийца. Если бы он, Турнер, замыслил основать новую религию, он построил бы ее по более совершенному и более удивительному методу. Новый Завет написан отвратительным стилем. У него, Турнера, столько же прав отбивать монету, как у английской королевы, и он знает некоего Пооло, заключенного в Ньюгете, очень искусного в смешивании металлов, при помощи которого он думает когда-нибудь чеканить золото с своим собственными изображением.

Какая-то набожная душа стерла на пергаменте утверждения еще более ужасные.

Все эти слова были собраны в хронике человеком простым. Но сами поступки Турнера показывают безверие еще более упорное. Его изображают одетым в длинное черное платье, с великолепной короной из двенадцати звезд, стоящим на небесном шаре и поднимающим правой рукою земной. Во время чумы и бурь он ходил ночью по улицам. Бледностью был он подобен освященному воску, и глаза его светились мягким блеском, как пламенеющей ладан. Некоторые утверждают, что на правом боку он имел знак в

виде необычайной печати, но этого нельзя было проверить после его смерти, ибо никто не видал его останков.

Он сделал своей любовницей одну проститутку из Банксида, бродившую по прибрежным улицам, и любил ее исключительной любовью. Она была молодая, с невинным лицом и белокурая. На лице ее проступал румянец, словно трепещущее пламя.

Сириль Турнер дал ей имя Розамунды и имел от нее дочь, которую очень любил. Розамунда умерла трагически, обратив на себя внимание одного принца. Известно, что она выпила яд изумрудного цвета в прозрачном кубке.

Тогда в душе Сириля к гордыне еще примешалась месть. Ночью на площади он пробежал вдоль королевской свиты, потрясая факелом с пылающей гривой, стараясь осветить лицо принца-отравителя.

Ненависть ко всякой власти подступала ему к горлу и жгла руки. Он стал подстерегать на больших дорогах, но не за тем, чтоб грабить, а за тем, чтобы убивать лиц королевского дома. Всех пропавших в то время принцев осветил факел Турнера, и все они были убиты.

Он таился в засадах у королевских дорог, — в песчаных колодцах и в ямах для обжигания извести. Среди отряда он намечал себе жертву, предлагал ей свои услуги освещать овраги, подводил к пасти колодца и, погасив факел, внезапно сбрасывал туда. Песок, как дождь, сыпался от падения.

После Сириль, наклонившись над краем, обрушивал пару огромных камней, чтоб прекратить крики. Остаток ночи он сторожил около темно-красной печи, пока известь не съест трупа.

Когда Сириль Турнер насытил ненависть к королям, его стала душить ненависть к богам. Бывшее в нем Божеское начало побуждало его творить. Ему пришло в голову, что он мог бы создать новую породу людей из своей собственной крови и размножиться, подобно богу, на земле.

Он взглянул на свою дочь и нашел, что она девственна и желанна. Чтобы выполнить свое намерение пред лицом Неба, он не нашел места, более знаменательного, чем клад-

бище. Он поклялся презреть смерть и среди разрушения, установленного Божественной Волей, сотворить новое человечество. Окруженный старыми костями, он хотел, чтоб появились на свет молодые.

Сириль Турнер овладел своей дочерью на могильной плите.

Конец жизни его окружен зловещим ореолом. Неизвестная рука передала нам его «Трагедию Неверующего» и «Трагедию Мстителя».

Предание говорить, что гордыня Сириля Турнера пошла еще дальше. В своем мрачном саду он велел себе воздвигнуть трон и на нем восседал в золотой короне при ударах грома. Некоторые из видевших его убегали, пораженные ужасом от синеватых перьев, развевавшихся над его головой.

Он читал манускрипт с поэмами Эмпедокла, но после никто не видел этого манускрипта. Часто он восхищался смертью Эмпедокла.

Год, когда исчез Сириль, был снова годом Чумы. Население Лондона перебралось на барки, прикрепленные канатами посередине Темзы. Ужасающая комета двигалась на небе, под луной. Это был шар белого огня, зловеще вращавшийся, словно живой. Он направился к дому Сириля Турнера, как будто разрисованному металлическими отсветами.

Человек весь в черном, с золотой короной, ожидал приближения кометы. И, как перед битвами на сцене театра, угрюмо и тревожно гудели трубы.

И свет, летучий и розовый, как бы из крови, охватил Сириля Турнера. Трубы, воздвигнутые в ночи, прозвучали, как похоронные фанфары в театре.

Так Сириль Турнер быль восхищен к неведомому богу, в молчаливое круговращение неба.





ВИЛЬЯМ ФИПС

Искатель сокровищ

Вильям Фипс родился в 1651 году близ устья реки Кеннебека, среди приречных лесов, куда строители судов являлись для рубки.

Впервые он задумался о случайном богатстве в бедной деревушке Мэн, глядя на выделку корабельных досок. Океан, который бьет о берега Новой Англии, в своем неверном свете донес ему блеск потонувшего золота и серебра, погребенного в песках. Он уверовал в богатства моря и задался целью овладеть ими. Он научился кораблестроению, скопил немного денег и прибыл в Бостон.

Его вера была так сильна, что он постоянно твердил: «Придет день, я буду командовать королевским кораблем, и у меня будет в Бостоне прекрасный кирпичный дом на Зеленой аллее».

В то время на дне Атлантики покоилось много испанских галиотов, нагруженных золотом. Слух об этом овладел душою Вильяма Фипса. Он узнал, что огромный корабль потонул близ порта Де-Ла-Плата. Собрав все, что у него было, он уехал в Лондон, чтобы снарядить судно.

Он осадил Адмиралтейство докладами и просьбами, и ему дали восемнадцатипушечную «Розу Алжира». В 1687 году он поднял парус навстречу неизвестному. Тогда ему было тридцать шесть лет.

На палубе «Розы Алжира» ехало девяносто пять человек и в том чнсле старший боцман Аддерлей из Провиданса. Узнав, что Фипс направляется к Испаньоле, они не могли скрыть своей радости: Испаньола была островом пиратов, а «Роза Алжира» казалась им подходящим судном. Сперва они устроили на маленьком песчаном островке Архипелага совещание, как им сделаться рыцарями счастья.

Фипс находился на носу «Розы Алжира», наблюдая за морем. В это время была авария в подводной части корабля. Поправлявший ее плотник услышал заговор. Он бросился в капитанскую каюту. Фипс приказал ему зарядить пушки, направил их на берег против восставшего экипажа, оставил изменников в этом пустынном месте и ушел с несколькими верными матросами. Мастер из Провиданса, Аддерлей, догнал «Розу Алжира» вплавь.

Под жгучим солнцем, при спокойном море, они достигли Испаньолы. Фипс расспрашивал по всему берегу о корабле, потонувшем более полувека назад в виду порта Де-Ла-Шата. Один старый испанец припомнил это и указал риф, у которого он погиб. То был подводный камень, продолговатый и закругленный, со скатами, видными сквозь прозрачную воду до самых глубин.

Аддерлей, наклонившись над бортом, глядел, улыбаясь, на слабо зыблющиеся волны. «Роза Алжира» медленно описала круг около скалы, но тщетно все вглядывались в прозрачное море. Фипс топал ногами, стоя на баке, среди черпаков и багров.

Еще раз «Роза Алжира» обогнула скалу, но повсюду дно казалось однообразным, с его концентрическими полосами песка и купами наклонных водорослей, колеблемых течением. Когда «Роза Алжира» начала третий круг, солнце село и море сделалось черным. Потом оно загорелось фосфорическим светом.

«Вот они, сокровища!» — восклицал Аддерлей в ночной темноте, протягивая руки к дымящемуся золоту волн.

Знойная заря взошла над океаном, спокойным и ясным, а «Роза Алжира» шла все по той же орбите.

И в продолжение восьми дней она кружилась таким образом. Глаза людей, упорно глядевших в прозрачность моря, сделались мутными. У Фипса больше не было провизии. Приходилось уходить.

Приказ был отдан, и «Роза Алжира» начала поворачиваться. В эту минуту Аддердей заметил, что сбоку скалы колебалась красивая белая водоросль. Ему захотелось ее достать. Один индеец нырнул и оборвал водоросль. Когда он ее подавал, она висела совершенно прямо. Она была очень тяжела, и перевившееся корни словно сжимали какой-то камень. Аддерлей, взвесив водоросль на руке, ударил корнями о палубу, чтобы стряхнуть с них тяжесть. Что-то покатилось, блеснув на солнце. Фипс вскрикнул. То был слиток серебра, стоивший добрых триста фунтов. Аддерлей бессмысленно раскачивал белую водоросль. Тотчас все индейцы нырнули в воду.

В несколько часов палуба была завалена твердыми мешками, окаменелыми, покрытыми известью и облепленными мелкими раковинами. Их вскрыли ножницами и молотками; из дыр посыпались золотые и серебряные слитки и монеты.

«Слава Богу, — воскликнул Фипс, — теперь мы богаты!» Сокровище стоило триста тысяч фунтов стерлингов.

Аддерлей твердил: «И все это из корня маленькой белой водоросли». Он умер сумасшедшим на Бермудских островах несколько дней спустя, бормоча эти слова.

Фипс сопровождал свой клад. Английский король сделал из него сира Вильяма Фипса и назначил шерифом Бостона. Здесь осуществилась его мечта: построить себе прекрасный дом из красного кирпича на Зеленой аллее.

Он стал влиятельным лицом. Начальствовал во время кампании против французских владений и отнял Акадию у господина де Менсаля и кавалера де Виллебона.



Король назначил его губернатором Массачусетса, главным капитаном Мэна и Новой Шотландии. Его ящики были полны золотом.

Он предпринял нападение на Квебек, забрав в Бостоне для этой цели все свободные деньги. Предприятие не удалось, и колония была разорена. Тогда Фипс выпустил бумажные деньги. Чтобы поднять их ценность, он обменял на бумажки все свое наличное золото, но счастье отвернулось.

Курс бумаг упал. Фипс потерял все, остался без гроша, весь в долгах, и враги подстерегали его. Его благоденствие длилось лишь восемь лет.

Всеми покинутый, он уехал в Лондон. Когда он сходил на берег, его арестовали из-за двадцати тысяч фунтов по прошению Дудлея и Брентона. Приставы отправили его во Флитскую тюрьму.

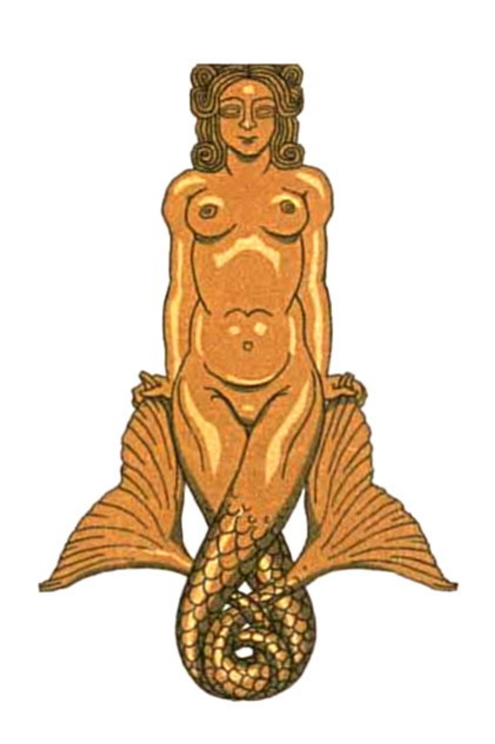
Сир Вильям Фипс был заперт в пустую камеру. У него сохранился только слиток серебра, создавший ему славу, слиток из под белой водоросли.

Лихорадка и отчаяние томили его. Смерть уже брала его за горло. Он боролся. Даже здесь его не оставлял мечта о сокровищах.

Галиот испанского губернатора Бобадилла, с грузом золота и серебра, потонул около Бахамаса.

Фипс послал за начальником тюрьмы. Лихорадка и безумная надежда обессилели его. Своей иссохшей рукой он протянул начальнику слиток серебра и с хрипом пробормотал: «Дайте мне нырнуть. Вот один из слитков Бо-ба-дила».

Затем он испустил дух. Слиток из-под белой водоросли оплатил его гроб.





КАПИТАН КИД

Пират

Существуют разногласия о причине, заставившей дать этому пирату прозвище Козленка (Kid). Указ, которым Вильгельм III, король английский, жалует его назначением на галеру «Приключение», в 1695 году, начинается словами: «Нашему верному и возлюбленному капитану Вильяму Киду, командиру и т.д. благоволение!» Но достоверно, что с тех пор таково было его боевое ими.

Одни говорят, что, будучи изящным и утонченным, он имел привычку всегда носить в битвах и на маневрах мягкие перчатки из кожи козленка с отворотами из фландрских кружев. Другие утверждают, что среди самых жестоких кровопролитий он восклицал: «И это я, нежный и кроткий, как новорожденный козленок!». Третьи, наконец, настаивают, что он хранил золото и драгоценности в мягких мешках из козлиной кожи и эту привычку усвоил с того дня, как ограбил судно, нагруженное ртутью, и ею наполнил тысячу кожаных мешков, которые и поныне лежат зарытыми на склоне одного небольшого холма на Барбад-

ских островах.

Довольно знать, что на его флаге из черного шелка были вышиты мертвая голова и голова козленка и на печати его вырезано то же.

Искатели многочисленных кладов, зарытых им на побережьях Азиатского и Американского континентов, заставляют идти перед собой маленького черного козленка, который должен заблеять на том месте, где капитан укрыл свою добычу. Но никто не имел удачи. Сам «Черная борода», несмотря на указания старого матроса Кида, Габриэля Лоффа, не нашел на дюнах, где теперь построен форт Провидения, ничего, кроме отдельных капель ртути, просочившейся сквозь песок.

Все эти раскопки — бесполезны, ибо капитан Кид объявил, что его хранилища останутся неизвестными навсегда из-за «Человека с кровавым ведром». Действительно, этот человек являлся Киду в продолжение всей его жизни, а по смерти Кида он посещает и хранит его сокровища.

Лорд Белламонт, губернатор Барбадских островов, возмущенный невероятными захватами пиратов в Восточной Индии, снарядил галеру «Приключение» и получил от короля для капитана Кида назначение его командиром.

С давних пор Кид завидовал знаменитому Ireланду, грабившему все транспорты. Он обещал лорду Белламонту захватить его корабль и привести Ireланда с товарищами на казнь. «Приключение» несло на борту тридцать пушек и сто пятьдесят человек команды.

Сперва Кид пристал к Мадере запастись там вином, потом к Бонависгу, где взял груз соли и, наконец, к Сант-Яго, где сделал окончательные запасы провианта. Отсюда он направился ко входу в Красное море, где есть на Персидском заливе маленький островок, называемый «Ключ Баба».

Здесь капитан Кид собрал товарищей и велел поднять черный флаг с мертвой головой. Все поклялись на топоре в беспрекословном повиновении уставам пиратов. Каждый получал один голос и равное право на свежий провиант и крепкие напитки. Игра в карты и кости запрещалась. Все

огни положено было тушить в восемь часов вечера. Кто хочет выпить позднее, пьет на палубе, в темноте, под открытым небом. В состав экипажа не допускаются ни женщины, ни мальчики. Кто введет их переодетыми, карается смертью. Пушки, пистолеты и тесаки должны быть содержимы в порядке и вычищены. Ссоры решаются на суше, на саблях и пистолетах. Капитан и квартирмейстер получают двойную долю, корабельный мастер, боцман и канонир — полуторную; остальные начальники — одну с четвертью. Отдых музыкантам — день субботний.

Первое судно, ими встреченное, было голландское под командой Шиппер Митчеля. Кид выкинул французский флаг и пустился в погоню. Корабль тотчас показал французские цвета, на что пират окликнул его в рупор по-французски. У Шиппера был на борту один француз, который дал ответ. Кид спросил, есть ли у него пропуск. Француз ответил, что есть. «Если так, — отвечал Кид, — ввиду вашего пропуска я считаю капитаном этого судна вас». И тотчас велел повесить его на рее.

Потом он заставил голландцев подходить к нему поодиночке. Он их опрашивал и, делая вид, что не замечает их ответов на фламандском языке, отдавал приказ о каждом пленнике: «Француз! На доску!» К краю борта прикрепили доску. Голландцы взбегали на нее, голые, подгоняемые острием боцманского тесака, и прыгали в море.

Здесь поднял голос Моор, канонир капитана Кида. «Капитан! — вскричал он,—к чему вы убиваете этих людей?» Моор был пьян. Капитан обернулся, схватил ведро и им ударил его по голове. Моор повалился с расколотым черепом.

Капитан Кид велел вымыть ведро, к которому пристали волосы с запекшейся кровью. Ни один человек из экипажа не хотел после обмакивать в нем своей швабры. Ведро оставили привязанным к борту.

С того дна капитану Киду начал являться человек с ведром. Когда он захватил мавританское судно «Квеба», на котором были индусы и армяне с десятью тысячами фунтов золота, во время дележа добычи человек с кровавым

ведром сидел на дукатах. Кид ясно увидел его и разразился проклятиями. Сойдя в каюту, он выпил залпом кружку вина «бомбу». После, вернувшись на палубу, он приказал выбросить старое ведро в море.

После абордажа богатого торгового корабля «Мокко» не нашлось, чем отмерить капитану его долю золотого песка. «Полное ведро», — сказал голос за плечами Кида. Он пронзил воздух тесаком и вытер с губ проступившую пену. Потом велел повесить армян. Люди экипажа, казалось, ничего не слышали.

Когда Кид захватил «Ласточку», после дележа добычи он прилег на койку. Проснувшись, он почувствовал, что вспотел, и позвал матроса подать умыться. Тот принес воды в оловянном тазу. Кид пристально взглянул на него и зарычал: «Так ли ведет себя рыцарь фортуны? Презренный! Ты принес ведро, полное крови!» Матрос убежал. Кид велел его высадить и оставить на произвол судьбы, дав ему ружье, бутылку с порохом и бутылку с водой.

Единственная причина, заставлявшая Кида зарывать свою добычу в разных пустынных местах, среди песков, было убеждение, что каждую ночь убитый канонир приходит с своим ведром опустошать корабельную камору с золотом, чтобы выбросить все богатства в море.

Кид был захвачен в открытом море против Нью-Йорка. Лорд Велламонт отослал его в Лондон. Его присудили к виселице. Он был повешен на Набережной казней, в своей красной одежде и в перчатках.

В тот миг, когда палач надевал ему на голову черный мешок, капитан Кид стал отбиваться и закричал: «Черт возьми! Так и знал, он наденет мне на голову свое ведро!»

Почерневший труп оставался висеть в цепях более двадцати лет.



ВАЛЬТЕР КЕННЕДИ

Неграмотный пират

Капитан Кеннеди был ирландец и не умел ни читать, ни писать. Он дошел до чина лейтенанта, под начальством славного Робертса, за свой талант в производстве пыток. Он обладал в совершенстве искусством закручивать волосы надо лбом узника до того, что глаза вылезали наружу, или гладить ему лицо горящими пальмовыми листьями.

Его репутация сложилась окончательно во время суда который состоялся на борту «Корсара», принадлежавшего Дарди Мулену, подозреваемому в измене.

Судьи уселись с трубками и табаком, против штурманскаго компаса, перед большою чашей пунша. Разбирательство началось.

Уже собирались вынести приговор, когда один из судей предложил выкурить еще по трубке, прежде чем подавать голоса.

Тогда Кеннеди встал, вынул трубку изо рта, сплюнул и начал говорить так: «Черт возьми! Джентльмены! Пусть возьмет меня дьявол, если мы не повесим Дарди Мулена, моего старого товарища. Дардн добрый малый, черт возь-

ми! Мерзавец тот, кто скажет, что не так. А мы люди благородные, дьявол! Ведь вместе же работали, черт возьми! И я от всего сердца люблю его, мерзавца. Джентльмены! Я его знаю хорошо. Это настоящий разбойник! Будет жив, никогда не раскается. Черт меня подери, коли раскается. Не правда ли, старина Дарди? Повесим его, черт возьми! С позволения почтенной компании выпью, как следует, за его здоровье!»

Эта речь показалась прекрасной и достойной лучших военных речей, дошедших от древних.

Робертс пришел в восхищение. С этого дня Кеннеди пошел в ход.

В открытом море у Барбадских островов, когда Робертс заблудился, отправившись на шлюпке в погоню за португальским кораблем, Кеннеди заставил товарищей избрать себя капитаном «Корсара» и стал держать путь по своей воле.

Они ограбили и потопили немалое число бригантин и галер, нагруженных сахаром и бразильским табаком, а также золотым песком и полными мешками дублонов и серебряной монеты.

Их флаг был из черного шелка, и на нем мертвая голова, песочные часы, две скрещенных кости и внизу сердце, пронзенное дротиком, с тремя каплями крови.

Раз им встретился мирный баркас из Виргинии, капитаном которого был один набожный квакер, по имени Кнот. У этого Божьего человека не было на всем судне ни рома, ни пистолетов, ни сабель, ни кортиков. На нем было длинное черное платье, а на голове шляпа того же цвета с широкими полями.

— Черт возьми! — сказал капитан Кеннеди, — этот добрый малый — весельчак! Вот это я люблю. Никто не сделает худа моему другу, господину капитану Кноту, одетому таким потешным образом.

Господин Кнот поклонился с молчаливым жестом.

— Аминь! — сказал Кнот. — Да будет так!

Пираты одарили господина Кнота. Они предложили ему тридцать «муадоров», десять пачек бразильского таба-

ка и мешочек с изумрудами. Господин Кнот принял с удовольствием и муадоры, и табак, и драгоценные камни.

— Эти подарки позволительно принять, чтобы сделать из них благочестивое употребление. Ах! Если б Небу было угодно, чтобы все маши друзья, мореплаватели, были одушевлены подобными чувствами. Господь приемлет все приношения. В сущности, то, что вы теперь ему подносите, не что иное, как члены Золотого Тельца и части идола Дагона. Дагон еще царствует в этих языческих странах, и его золото порождает худые соблазны.

— Заткни глотку, Дагонов мерзавец! — сказал Кеннеди,— черт возьми! Пей и бери, что дают.

Тогда господин Кнот смиренно поклонился, но отказался от предлагаемой кварты рома.

— Господа мои друзья!— сказал он...

— Рыцари фортуны! Черт возьми! — вскричал Кеннеди.

— Мои друзья, господа рыцари! — продолжал Кнот. — Крепкие напитки есть поощрение соблазнов, которых не могло бы перенести наше слабое тело. Вы, друзья мои...

— Рыцари фортуны! Черт возьми! — кричал Кеннеди.

— Вы, друзья мои, счастливые рыцари, — продолжал Кнот, — вы, закаленные долгими испытаниями в борьбе с искусителем, возможно, скажу даже — вероятно, не потерпели от того никакого затруднения, но ваши друзья были бы удручены, тяжко удручены.

— Удручены! К дьяволу! — сказал Кеннеди. — Этот человек говорит удивительно, но я пью лучше. Он покажет нам путь в Каролину повидать его добрых друзей: они, наверно, владеют другими частями Тельца, о котором он говорит. Не правда ли, господин капитан Дагон?

— Да будет так! — сказал квакер. — Но мое имя: Кнот.

Он поклонился еще раз, и широкие поля его шляпы качались от ветра.

«Корсар» бросил якорь в одном маленьком заливе, облюбованном Божьим человеком. Он обещал привести своих друзей, и действительно вернулся в тот же день, вечером, с отрядом солдат, посланных Спогсвудом, губернатором Каролины.

Божий человек клялся своим друзьям, рыцарям фортуны, что это сделано им только затем, чтоб помешать им ввезти в эти языческие страны их искусительные напитки.

Когда пираты были захвачены, Кнот сказал:

— Ах, друзья мои! — Познайте умерщвление плоти, как это сделал я.

— Черт подери! — Умерщвление плоти! Это самое настоящее слово, — ругался Кеннеди.

Он был закован в кандалы на борту одного транспорта, чтоб быть судимым в Лондоне.

Старый Байлей его принял. Кеннеди поставил кресты против всех вопросных пунктом, подписав их тем же знаком, что и призовые квитанции.

Его последняя речь была произнесена на Набережной казней, где ветер с моря качал трупы бывших рыцарей фортуны, висевшие на цепях.

— Черт возьми! Много чести! — сказал Кеннеди, глядя на повешенных.

— Они собираются прицепить меня рядом с капитаном Кидом. Теперь он без глаз, но это, должно быть, он. Только он один носил такое богатое платье красного сукна. Кид всегда был щеголем. И умел писать. Он знал эти чертовы буквы. Какая красивая рука! Извините, капитан! (Он поклонился иссохшему телу в красной одежде). И мы были рыцарями фортуны.



МАЙОР СТЭД БОННЕТ

Пират из причуды

Майор Стэд Боннет был дворянин, отставной военный, живший в своих плантациях на острове Барбадос около 1715 года. Поля сахарного тростника и кофейных деревьев приносили ему доход и он с удовольствием курил табак, выращенный им самим. Он был женат, но несчастлив в супружеской жизни. Говорили, что его ум помутился из-за жены. И действительно, его мания завладела им вполне уже после сорокалетнего возраста и вначале соседи и домашние подчинялись ей, не подозревая ничего.

Мания майора Стэда Боннета заключалась в следующем. При всяком удобном случае он начинал осуждать сухопутную тактику и хвалить морскую. Единственные имена, не сходившие у него с языка, были: Авери, Карл-Ван, Веньямин Горнигольд и Эдвард Таш. По его убеждению, это были смелые мореплаватели и предприимчивые люди. В то время они держали в тревоге все Антильское море. Если случалось, что кто-нибудь при майоре называл их пиратами, тот восклицал: «Да прославится Господь, позволивший этим пиратам, как вы их называете, служить при-

мером вольной и дружной жизни, какую вели наши предки. В то время не было ни обладателей богатств, ни смотрителей за женщинами, ни рабов для добывания сахара, бумажной пряжи или индиго; Бог в своих щедротах распределял все блага, и каждый получая свою долю. Вот почему я восторгаюсь свободными людьми, которые делятся тем, что получают, и ведут сообща жизнь товарищей по судьбе».

Объезжая плантации, майор часто хлопал по плечу какого-нибудь работника.

— Не лучше ли бы тебе, дуралей, переносить на какой-нибудь корабль или бригантину тюки с этим несчастным растением, из-за которого ты проливаешь пот!

Почти каждый вечер майор собирал своих слуг под навесом, где хранится зерно, и там при свече читал им под жужжание цветных мух о великих подвигах пиратов Испаньолы и острова Черепахи, ибо летучие листки предупреждали об их грабежах деревни и фермы.

— Изумительный Ван! — восклицал майор. — Храбрый Горнигольд, истинный рог изобилия, полный золотом! Неподражаемый Авери, весь в драгоценностях Великого Могола и короля Мадагаскара! Удивительный Таш! Ты, сумевший управиться поочередно с четырнадцатью женщинами и отделаться от них. Ты, придумавший отдавать каждый вечер последнюю из них (ей только шестнадцать лет) своим лучшим товарищам на твоем добром острове Океркоке (конечно, из чистой щедрости, великодушия и знания людей). Какое счастье следовать бегу ваших кораблей, пить ром с тобой, «Черная борода», повелителем на борту «Расплаты королевы Анны»!

Все эти речи домашние майора слушали с изумлением и в молчании; и ничто не прерывало его слов, кроме легкого глухого шума от маленьких ящериц, падавших порою с крыши, так как их лапки слабели от испуга.

После майор, защищая рукой сальную свечку, чертил тростью между листьями табака всевозможные морские маневры этих великих капитанов, угрожая «Моисеевым законом» (так пираты называли порцию в сорок палочных

ударов) тому, кто не понял бы всей тонкости тактических эволюций, свойственных искусству флибустьера.

В конце концов майор Стэд Боннет был не в силах более сдержаться и, купив старый десятипушечный баркас, оборудовал его всем необходимым для пиратства, как кортики, аркебузы, лестницы, доски, крючья, топоры, Библии (для принесения присяги), бочонки рома, фонари, сажа, чтоб чернить лицо, смола, трут для зажигания между пальцами богатых купцов и множество черных флагов с белою мертвою головою, двумя скрещенными костями и названием корабля: «Расплата».

Затем он внезапно приказал семидесяти человекам из своих слуг взойти на борт и ночью вышел в море, прямо на Запад, по направлению к Сен-Вннценту, чтобы объехать Юкатан и ограбить все берега до Саваннаха (куда он, однако, не доехал).

Майор Стэд Боннет ничего не понимал в морском деле. С самого начала он потерял голову между буссолью и астролябией, пугая artimon (бизань-мачта) с artillerie (артиллерия), misaine (фок-парус) с dizaine (десяток), boot-dehors (носовая часть) с boute-selle (сигнал трубой), lumiere de caronade (каронадный огонь) с lumiere de canon (пушечный огонь), écoutille (люк) с écouvillon (банник), командуя charger (грузить) вместо carguer (подобрать паруса на гитовы), — короче говоря, на него так подействовала путаница незнакомых слов и непривычная морская качка, что он уже подумывал высадиться в Барбадосе, если бы только честолюбивое желание выкинуть черный флаг в виду первого же корабля не поддерживало его в первоначальном намерении.

Он не запасся провиантом, рассчитывая на добычу, но в первую ночь ни один корабельный огонь не показался на море. Потому майор Стзд Боннет решил напасть на какуюнибудь деревню.

Размести всех людей на палубе, он раздал им новые кортики и увещевал их быть беспощадными. Потом он велел принести ведро с сажей и ею начернил себе лицо, приказав прочим следовать его примеру, что было исполнено

не без шуток. Наконец, припоминая, что в таких случаях следует воспламенять экипаж каким-нибудь принятым у пиратов напитком, он заставил каждого проглотить по пинте рома, смешанного с порохом (у него не было того вина, которое обычно подбавляют в ром у пиратов).

Слуги майора повиновались, но, вопреки обычаям, их лица не зажглись боевым пылом. Они бросились довольно единодушно к обоим бортам и, наклонив свои черные физиономии над бортовыми сетками, отдали эту микстуру злодею-морю. После этого «Расплата» почти села на мель около Сен-Винцента, и они высадились, плохо держась на ногах.

Был утренний час, и удивленные лица поселян нимало не пробуждали гнева. Сердце самого майора не было расположено к гневным крикам. Он с надменным видом произвел покупку риса, сухих овощей и соленой свинины, за что заплатил (по способу пиратов и, как ему казалось, очень благородно) двумя бочонками рома и старым канатом. После этого людям с трудом удалось сдвинуть «Расплату» обратно в воду, и майор Стэд Боннет, гордый своей первой победой, снова вышел в море.

Он плыл целый день и целую ночь, не зная, какой ветер несет его. К утру второго дня майор Стэд Боннет, прилегший уснуть около будки рулевого, причем ему очень мешали кортик и мушкет, был разбужен криком:

— Эй, корабль!

И он увидел покачивающийся в расстоянии одного кабельтова передний борт корабля. На носу его стоял человек, обросший бородой. Небольшой черный флаг развевался на мачте.

— Поднять ваше знамя смерти! — вскричал майор Стэд Боннет.

Вспомнив, что у него чин сухопутной армии, он тотчас решил взять себе другое имя, следуя знаменитым примерам. Он отвечал без всякого промедления:

— Судно «Расплата», командир — я, капитан Томас, с товарищами по счастью.

В ответ бородатый расхохотался;

— Доброй встречи, товарищ! — сказал он, — нам можно будет плыть вместе. А пока приходите выпить малую толику рому на борт «Расплаты королевы Анны».

Майор Стэд Боннет тотчас понял, что он встретил капитана Таша, Черную бороду, славнейшего из тех, кем восхищался. Но его радость была не так велика, как он думал об этом раньше. У него было предчувствие, что он потеряет свою пиратскую свободу.

Он молча перешел на борт корабля Таша, который принял его очень любезно, со стаканом в руке.

— Товарищ! — сказал Черная борода. — Ты мне очень нравишься. Только ты плаваешь очень неосмотрительно. Если ты мне веришь, капитан Томас, ты останешься на нашем добром корабле, а твое судно я отдам под команду вот этого очень опытного молодца, которого зовут Ричардсом. На корабле Черной бороды у тебя будет досуг пользоваться на свободе жизнью рыцарей фортуны.

Майор Стэд Боннет не посмел отказаться. Его освободили от кортика и мушкета, он принес клятву на топоре (Черная борода не выносил вида Библии), и ему был назначен паек сухарей и рома вместе с долею в будущих призах. Майор не воображал никогда, что жизнь пиратов подчинена таким точным правилам!

Ему пришлось сносить вспышки ярости Черной бороды и все ужасы плавания. Выйдя из Барбадоса господином, чтоб побыть пиратом по своей фантазии, он был, таким образом, вынужден сделаться по-настоящему пиратом на «Расплате королевы Анны».

Три месяца он вел эту жизнь, и за это время участвовал вместе с своим командиром в тринадцати захватах, потом нашел способ вернуться на свое собственное судно «Расплату», под команду Ричардса.

В этом он оказался осмотрительным, ибо на следующую же ночь Черная борода при входе в гавань своего острова Океркока был атакован лейтенантом Мейнардом, шедшим из Баттоуна. Черная борода был убит во время сражения. Лейтенант приказал отрубить ему голову и насадить на конец бугшприта, что и было исполнено.

Между тем, бедный капитан Томас бежал но направлению к Южной Каролине и проплавал жалким образом еще несколько недель. Губернатор Карлстоуна, узнав о его местонахождении, командировал полковника Рета захватить его на острове Сюлливане. Капитан Томас сдался.

Он был доставлен в Карлстоун, с большой торжественностью, под именем майора Стэда Боннета, которое он принял опять как можно скорее. Его держали в тюрьме до 10 ноября 1713 года, когда он появился перед судом вице-адмиралтейства.

Главный судья Николай Трот осудил его на смерть в следуюшей прекрасной речи:

— Майор Стэд Боннет! К вам предъявлено два обвинения по делу о пиратстве. Но вам хорошо известно, что вами ограблено, по крайней мере, тринадцать кораблей. Следственно, вас было бы можно обвинить еще по одиннадцати пунктам. Но нам будет достаточно и этих двух ваших деяний, ибо они противоречат божескому закону, повелевающему: *Не укради* (Исход 20, 15). Святой апостол Павел объявляет определенно: *Тати Царствия Божия не наследят* (I. Кор. 6, 10). Но вы повинны еще и в человекоубийстве; а убийцы *имут часть в озере огненном и серном, что есть вторая смерть* (Апок. 21, 8). И кто сможет *жить в огне вечном* (Исайя 33, 14)?

Ах, майор Стэд Боннет! Я имею справедливое основание опасаться, что основы религии, заложенные вам в юности, сильно поколеблены вашей худой жизнью и вашей чрезмерной приверженностью к литературе и к суетной философии нашего времени. Ибо, *если бы радость ваша была в законе Предвечного, и вы помышляли о нем день и ночь* (Псалт. 1. 2), вы уразумели бы, что *слово Господа есть светильник стопами вашим и свет на путях ваших* (Псалт. 119. 105).

Но вы не поступали так. И вам остается лишь положиться на *Агнца Божия, несущего грехи мира* (Иоанн. 1, 29), *пришедшего в мир грешников спасти* (Матфей. 18, 11) и обещавшего *не отринуть приходящего к нему* (Иоанн. 6, 37).

Итак, если вы хотите вернуться к нему, хотя бы и поздно, подобно работникам одиннадцатого часа в притче о виноградарях (Матвей. 20. 6. 0), он еще сможет принять вас. Теперь же суд постановляет: отвести вас на место казни и повесить за шею, пока не воспоследует смерть.

Майор Стад Боннет, выслушавший с сокрушением речь главного судьи Николая Трота, в тот же день был повешен в Карлстоуне, как вор и пират.





БУРК И ХАЙР

Убийцы

Мистер Вильям Бурк из положения самого низкого возвысился до громкой известности,

Он родился в Ирландии и начал карьеру сапожником. Несколько лет он занимался этим ремеслом в Эдинбурге, где нашел себе друга, мистера Хайра, на которого имел большое влияние. В сотрудничестве мистера Бурка и мистера Хайра сила изобретательная и направляющая, нет сомнения, принадлежала мистеру Бурку. Но имена их неразлучимы для искусства, как имена Бомонта и Флетчера.

Они вместе жили, вместе работали и были схвачены вместе.

Мистер Хайр никогда не протестовал против народного внимания, обращенного преимущественно к личности мистера Бурка. Такое полное бескорыстие не получило награды. Мистер Бурк дал имя специальному процессу, который прославил обоих сотоварищей. Односложное слово «бурк» еще долго будет жить в устах людей, когда уже личность Хайра исчезнет в забвении, всегда постигающем незаметных тружеников.

Казалось, мистер Бурк внес в свое дело феерическую фантазию зеленого острова, где он родился. Должно быть, душа его была пропитана рассказами народного творчества, В том, что он делал, есть как бы отдаленный отзвук «Тысячи и одной ночи». Подобно калифу, блуждавшему по ночам вдоль садов Багдада, он жаждал таинственных приключений и питал любопытство к незнакомым рассказам и к чужеземным людям. Подобно высокому черному рабу, вооруженному тяжелым ятаганом, он не находил для своей страсти более достойного завершения, чем чужая смерть.

Но его англосаксонское происхождение сказалось в том, что он умел извлечь самую практическую пользу из блужданий своего кельтического воображения.

Покончив свое художественное наслаждение, что делал, спрашивается, черный раб с теми, кому он отрубал головы? С чисто арабским варварством он их разрезал на четыре части, а после солил и хранил в подземелье. Какую выгоду получал он от того? Никакой. Мистер Бурк оказался бесконечно выше.

Мистер Хайр некоторым образом служил ему Динарзабой. По-видимому, изобретательность мистера Бурка обострялась особенно присутствием его друга. Напряженность мечты позволила им воспользоваться простой мансардой, чтобы создать там пышные видения.

Мистер Хайр жил в маленькой комнате, на шестом этаже высокого и весьма населенного дома в Эдинбурге. Диван, большой ящик и кое-какая домашняя утварь составляли, надо полагать, почти всю обстановку. На небольшом столе — бутылка виски и три стакана.

По заведенному порядку, мистер Бурк принимал одновременно лишь одного человека, и всегда нового. Он блуждал по улицам, изучая лица, возбуждавшие в нем любопытство. Иногда он выбирал наудачу. Он заговаривал с иностранцем со всей вежливостью, какую мог бы проявить сам Гарун-Аль-Рашид,

Иностранец подымался на шестой этаж и комнатку мистера Бурка. Ему уступали диван. Предлагали выпить шотландского виски. Мистер Бурк начинал его расспра-

шивать о самых выдающихся событиях его жизни.

Мистер Бурк был ненасытным слушателем. Но рассказ был всегда прерываем мистером Хайром до наступления дня. Способ этого прерывания был неизменно одинаков и очень категоричен.

Чтобы прервать рассказ, мистер Хайр имел обыкновение заходить сзади дивана и накладывать обе руки на рот рассказчика. В тот же момент мистер Бурк наваливался ему на грудь, и оба в таком положении оставались недвижными, мечтая о конце истории, которого им не услышать никогда.

Таким способом мистер Бурк и мистер Хайр закончили много историй, которых не узнают люди.

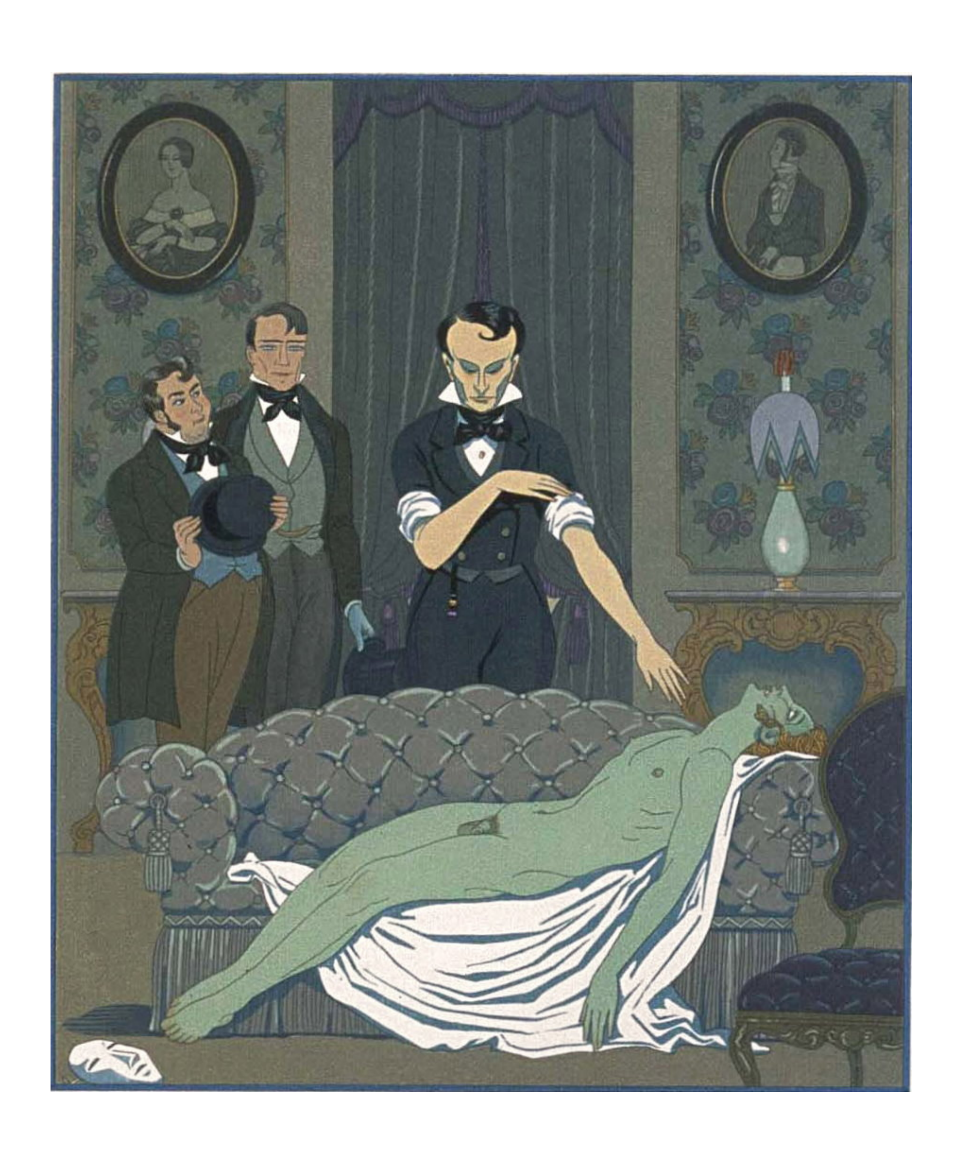
Когда рассказ бывал окончательно остановлен вместе с дыханием рассказчика, мистер Бурк и мистер Хайр исследовали тайну. Они раздевали незнакомца, восхищались его ценными вещами, пересчитывали деньги, читали его письма. Некоторые из них были небезынтересны. После они укладывали тело, чтоб дать ему остынуть, в большой ящик мистера Бурка. Здесь-то мистер Бурк и проявлял практическую силу своего ума.

Требовался труп свежий, но не теплый, чтоб можно было использовать до дна все удовольствие приключения.

В первые годы XIX столетия врачи ревностно изучали анатомию. Но в силу тогдашних религиозных воззрений они испытывали много трудностей в добывании тел для рассечения. Мистер Бурк своим ясным умом оценил этот пробел в науке,

Неизвестно, как он сошелся с уважаемым и ученым практиком, доктором Кноксом, профессором Эдинбурского факультета. Быть может, он слушал публичные лекции, хотя воображение должно бы заставить его склоняться скорее в сторону вкусов художественных.

Несомненно лишь то, что он обещал доктору Кноксу помогать ему, чем может. С своей стороны, доктор Кнокс обязался платить ему за труды. Тариф шел, понижаясь, от тел молодых людей до трупов стариков. Последние были не слишком интересны для доктора Кнокса. Того же мне-



ния был и мистер Бурк, так как обычно у стариков было мало воображения.

Доктор Кнокс прославился между коллегами знанием анатомии. Мистер Бурк и мистер Хайр воспользовались жизнью, как подобает дилетантам. Бет сомнения, к этому времени следует отнести классический период их жизни.

Всемогущий гений мистера Бурка скоро увлек его за пределы правил той трагедии, где фигурировали всегда рассказ и соучастник. Мистер Бурк вполне самостоятельно совершил эволюцию в направлении романтизма (было бы наивно говорить о влиянии мистера Хайра). Такая декорация, как мансарда мистера Хайра, перестала его удовлетворять, и он изобрел новый способ: ночью и в тумане. Многочисленные подражатели мистера Бурка сделали несколько избитым оригинальность его приема. Но вот какова была подлинная традиция самого изобретателя.

Богатое воображение мистера Бурка утомилось вечно похожими друг на друга рассказами из области житейского опыта. Никогда результат не соответствовал ожиданиям, и он пришел к тому, что стал интересоваться только всегда разнообразными для него реальным видом смерти.

Всю драму он сосредоточил в развязке. Качество актеров ему сделалось безразличным. Он стал их брать наудачу. Единственный театральный аксессуар мистера Бурка была холщовая маска, наполненная смолой. Мистер Бурк выходил в туманные ночи, держа эту маску в руке. Мистер Хайр сопровождал его.

Мистер Бурк поджидал первого прохожего, шел перед ним, потом, обернувшись, накладывал маску ему на лицо, внезапно и твердо. Тотчас мистер Бурк и мистер Хайр, каждый с одной стороны, овладевали руками актера. Холщовая маска со смолой представляла гениально простое средство прекращать и крики, и само дыхание.

Сверх того, она была и трагической. Туман стушевывал жесты роли. Некоторые актеры как будто изображали пьяниц.

По окончании сцены мистер Бурк и мистер Хайр брали кэб и раздевали там действующее лицо. Мистер Хайр охранял платье, а мистер Бурк втаскивал труп, свежий и чистый, к доктору Кноксу.

Здесь, несогласный с большинством биографов, я оставляю мистера Бурка и мистера Хайра в ореоле их славы.

К чему разрушать такой прекрасный художественный эффект, ведя их медлительно до конца их карьеры и раскрьвая их падение и разочарование?

Не следует их видеть иначе, чем с маскою в руке, бродящими в туманные ночи? Ибо конец их жизни был вульгарен и схож со многими другими.

Кажется, один из них был повешен, а доктору Кноксу пришлось оставить Эдинбургский факультет.

Мистер Бурк не оставил иных творений.




GB


G B

Примечания

Х. Л. Борхес. Марсель Швоб «Воображаемые жизни»

Предисловие к испанскому переводу книги М. Швоба, вошедшее в посмертный авторский сборник «Личная библиотека» (1988). Пер. Б. Дубина.

Воображаемые жизни

Русский перевод «Vies imaginaires» (1896) публикуется по первоизданию: *Швоб М. Вымышленные жизни. Vies imaginaires. М.: Гриф, 1909* с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Имена и топонимы, как правило, оставлены без изменений. Все постраничные примечания, помимо отдельно оговоренных, принадлежат нам. Заглавие книги заменено на более точное – «Воображаемые жизни».

Иллюстрации Ж. Барбье, гравированные на дереве П.Буше, взяты из библиофильского лимитированного издания: *Schwob M. Vies Imaginaires. [Paris, Carteret]: Le Livre contemporain, 1929.*

В оформлении обложки использован рис. Э. Губера.